

Адам Холл
Меморандум Квиллера
"The Quiller Memorandum" 1965

OCR Денис: <http://mysuli.aldebaran.ru>; <http://www.nihe.niks.by/mysuli/>

1. ПОЛЬ

Две стюардессы в аккуратных униформах Люфтганзы появились из-за стеклянной двери. Взглянув на группу летчиков, стоявших у бара, они разом повернулись на своих каблучках-гвоздиках к зеркалу и начали прихорашиваться. Летчики, высокие блондины, наблюдали за ними. Вошла еще одна девушка, коснулась рукой прически и принялась изучать свои ногти. Она бросила на стройных блондинов мимолетный взгляд и вновь опустила голову, в восхищении разглядывая ногти на растопыренных пальцах, словно это были цветы.

Один из молодых людей улыбнулся, взглядом приглашая товарищей за собой, но никто не откликнулся на его зов. Луч аэропортового маяка то появлялся, то исчезал в окне. Девушки отошли от зеркала, снова посмотрели на летчиков и остановились, держа руки за спиной. Казалось, все чего-то ждут. Первый молодой человек все же отважился сделать шаг в сторону стюардесс, но другой наступил ему на ногу, и тот остановился, пожав плечами и сложив руки на груди. Тишину вдруг нарушил рев взлетевшего реактивного самолета. Все, словно этого и ждали, с улыбкой обернулись друг к другу, глядя вверх и прислушиваясь.

Рев моторов был не слишком громок: я услышал, как позади растворилась дверь; полоска света скользнула по стене ложи и исчезла.

Сквозь большое окно видны были мигающие хвостовые огни воздушного лайнера; монотонно завывали реактивные двигатели. Летчики стояли сосредоточенные, а стюардессы сделали несколько деликатных шажков к двери, не отворачиваясь, однако, от молодых людей.

Я знал, что кто-то вошел в ложу и стоит позади меня, но не обернулся.

Летчики вышли на середину сцены, и одна из девушек протянула к ним руки и нетерпеливо воскликнула: "Кто собирается в полеты?"

Один из молодых людей ответил: "Я!"

Зазвучала музыка, и его друзья подхватили хором:

"Все мы! Все мы, пилоты!"

"Кто летит в просторы неба, в воздух голубой?" — запели девушки.

Человек, вошедший в ложу, сел в кресло и искоса разглядывал меня. Свет со сцены освещал одну сторону его лица.

— Виндзор, — представился он. — Извините, что помешал вам...

— Не имеет значения, — ответил я. — Помеха не велика. Пресса зря расхвалила представление.

Я пошел в театр, потому что завтра возвращался домой, и мне хотелось увезти с собой воспоминание, пусть очень тривиальное, о новой либеральной Германии, о которой так много разглагольствуют. Как считалось, "Новый театр комедии" являлся "средоточием молодой жизнерадостности" ("Зюддойче цайтунг"), где "новое поколение экспериментировало в области новой музыки, которую раньше не приходилось слышать" ("Дёр Шпигель").

— Сожалею, что вам пришлось разочароваться в последний вечер пребывания в Берлине, — прошептал мой сосед. Он глянул вниз на сцену и бесшумно отодвинул кресло. — Может быть, мне удастся развлечь вас беседой?

На мгновение я подумал, что он собирается уйти, но ошибся. Кресло теперь стояло так, что лицо незнакомца оказалось в тени.

— Не соблаговолите ли вы придвинуть ваше кресло поближе, мистер Квиллер, чтобы мы могли побеседовать, не напрягая голоса, — мягко произнес он, наклонясь ко мне. И добавил: — Меня зовут Польш.

Я не двинулся с места.

— Кроме вашего имени, герр Польш, я ничего не знаю о вас. По-видимому, вы ошиблись. Я заказал ложу номер семь для себя. Ваша, наверное, номер один. Иногда путают эти цифры.

Девушки и юноши кружились по сцене, взмахивали руками, словно крыльями, наклоняясь в разные стороны, — все это должно было изображать, по словам прессы, "воздушный балет сложного рисунка, чарующий взор". Огни на сцене померкли, у танцоров в руках появились маленькие электрические лампочки, которые то приближались, то удалялись друг от друга. Я почувствовал скорбь. Даже новое

поколение не могло обойтись без того, чтобы не исполнить танец, напоминавший, пусть и помимо их воли, воздушный бой.

— Я пришел сюда потому, что здесь удобно побеседовать. Лучше, чем в кафе или в вашем отеле. Я пришел, никем не замеченный, и, если вы согласитесь отодвинуть ваше кресло назад, нас никто не увидит при таком освещении, — тихо произнес Поль.

— Вы принимаете меня за кого-то другого. Не вынуждайте меня пригласить капельдинера, — ответил я.

— Ваше отношение ко мне понятно, так что я не в претензии, — сказал он. Я придвинул свое кресло к нему.

— Слушаю.

"Виндзор" было секретным словом, произносимым при вступлении в контакт. Особая группа "С" действовала с первого числа этого месяца, дав нам для пароля четыре слова: "Виндзор", "соблаговолите", "пригласить" и "претензия". Я мог бы довериться ему уже по слову "соблаговолите", так как он знал, что меня зовут Квиллер, знал номер моей комнаты и что это был мой последний вечер в Берлине, но я бросил ему

"пригласить" в надежде, что он не пришел на связь, а просто по ошибке попал в чужую комнату и слово "соблаговолите" произнес случайно. Однако в ответ я услышал слово "претензия". Я не желал больше никаких контактов, никаких заданий. Мне осточертело шестимесячное пребывание в Германии, и я мечтал об Англии, как никогда в жизни.

К сожалению, я ошибся. Он пришел на связь.

Не слишком вежливо я попросил его объяснить, каким образом он узнал, где я нахожусь.

— Я следовал за вами, — ответил он.

— Чушь, — отрезал я (я всегда знаю, когда за мной следят).

— Правильно, — согласился он. Значит, это была проверка: он хотел узнать, замечаю ли я, умею ли замечать слежку за собой.

— Нам стало известно, что вы зарезервировали эту комнату, — сказал он.

Я заказал комнату по телефону, именно комнату, не желая сидеть с кем-нибудь рядом. Комнату я заказал на имя Шульца, так что если бы он даже просмотрел весь список зарезервированных комнат, то не обнаружил бы моей фамилии. Следовательно, оставалось только одно.

Мы расставили друг другу несколько быстрых ловушек.

— Значит, вы обратились в театральную кассу, — сказал я.

— Да.

— Не проходит. Я воспользовался чужой фамилией.

— Мы это знали.

— Подключились к моему телефону?

— Правильно, — кивнул он.

Мне не нравилось это слово. Он уже воспользовался им дважды: оно было из лексикона учителя. Уж не думает ли он, что я новичок, только что окончивший курс в учебном центре?

Сложный аэробалет на сцене кончился, зажглись огни. Раздался гром аплодисментов.

— Мне не хочется лезть в петлю из-за незнакомого связного, — сказал я. — К тому же после выполнения задания. Кроме того, я не люблю, чтобы мой телефон прослушивался. Как долго это тянулось?

— А как вы сами считаете? — вкрадчиво спросил он. Свет в зале казался особенно ярким после мрака, и я как следует разглядел его. Карие глаза за очками в роговой оправе с простыми стеклами, которые не увеличивали и не уменьшали ни на йоту, но делали свое дело, превращая его лицо в заурядное лицо школьного учителя. Каштановые волосы. Ничего, на чем можно было бы задержать взгляд. Если бы я захотел запомнить этого человека, то должен был бы увидеть его походку. Но в этом не было необходимости. Завтра я буду в Англии, поэтому черт с ним!

— Мой телефон давно не прослушивался, иначе бы я услышал щелканье в трубке, — тихо произнес я, так как аплодисменты прекратились.

Он заговорил, приложив руку ко рту, чтобы направить звук голоса только в мою сторону:

— Я вылетел из Лондона сегодня утром с приказом тайно связаться с вами. Мне не было разрешено встретиться с вами в отеле или в другом людном месте, так что у нашей разведки возникла тяжелая задача.

Ваш телефон начали прослушивать незадолго до полудня в надежде узнать, как вы намерены провести день, и обеспечить мне связь с вами. Мне повезло, вы заказали комнату в театре.

— Влип, как последний болван.

Мне доставляло удовольствие видеть огорченное выражение его лица. Я действовал, как бунтарь, как

ученик, которого завтра выпускают из школы и поэтому сегодня он может говорить дерзости кому угодно. Что ж, на его несчастье, Поль попался мне под горячую руку. К тому же он был мне незнаком, может быть, даже являлся какой-нибудь шишкой в Центре, но здесь он был инкогнито, а коли так, то я могу дерзить, пока он не назовет себя. В конечном итоге представление оказалось не таким уж плохим.

— Дело чрезвычайной срочности, — сказал он. Это уже был серьезный сигнал. Слова "чрезвычайная срочность" являлись условными, покрывающими все остальные — от "совершенно секретно" и "действовать немедленно" до "очередность "А"". Ну и пусть...

— Ищите кого-нибудь другого, — отрезал я. — Я возвращаюсь домой.

Я почувствовал себя лучше. Условная фраза была не шуткой, а я позволил себе шутить.

— КЛД убит вчера ночью, — донеслось до моего слуха. Словно меня ударили в челюсть... Я мгновенно покрывлся потом. Годы тренировки научили меня сохранять глаза, рот и руки неподвижными, поэтому когда эти слова дошли до моего сознания, то тело, послушное воле, хоть и преодолевая инстинктивную реакцию, должно было все же как-то реагировать. И так, я сидел молча, спокойно смотрел на соседа и только чувствовал, как весь обливаюсь потом.

— Мы хотим, чтобы вы заняли его место, — сказал он.

2. КРЮЧОК

Я ответил, чтобы они не рассчитывали на меня.

Он сказал, что это не приказ, а просьба.

Вести беседу было трудно, так как музыка то и дело прерывалась, и даже тихо произнесенное слово могло при внезапной паузе вдруг раздаться на весь зал. Разговаривать стало легче во время антракта. Мы заперли двери ложи и уселись на ковер, не видные даже с галерки на противоположной стороне. Неясный гул голосов заглушал наши слова.

Одна мысль буравила мне голову, словно пуля: КЛД убит...

Я спросил Поля о подробностях, и он ответил: "Тело найдено в Грюневальдзее". Вот, значит, где закончил свою жизнь Кеннет Линдсей Джоунс... Всех нас ждет какое-нибудь место смерти. Мы знаем, где родились, но не знаем, где умрем. Дома, в миле от перекрестка дорог или на другом конце света. Не знаем,

случится ли это во сне, будем ли раздавлены колесами машины на грязном проселке или погибнем во время обвала в горах, но знаем, слишком хорошо знаем, что в конце концов это произойдет. Место для каждого из нас уготовано. А Грюневальдзее оказалось местом смерти КЛД.

За время моей работы в разведке мы потеряли пять человек, но КЛД считался неуязвимым.

— Выстрел с дальней дистанции: калибр 9,3 — как и в случае в Чарингтоном, — прибавил Поль.

Затем мы перестали говорить о КЛД, словно его никогда и не существовало. Поль принялся опутывать меня, и я не сопротивлялся, я уже начинал ненавидеть его тихий голос.

— Мы довольны тем, как вы провели розыски военных преступников. Правда, нам не было понятно, зачем вы так законспирировались, ведь мы действуем в рамках Лондонского соглашения, однако вы этого захотели. Что ж, дело ваше. Нам сообщили, что даже глава комиссии "Зет" не знал, кто стоял за всеми арестами. Мы признаем, что ваш метод следует ввести в практику.

Он сделал паузу, ожидая благодарности с моей стороны, но я молчал и наслаждался своим молчанием.

— Французская разведка уже три недели настаивает перед Центром на расширении работы в Берлине.

В настоящее время никто не информирован в отношении берлинских групп бывших нацистов и неонацистов больше, чем вы. Это представляет для нас огромную ценность. Так же, как и вы сами...

Он вновь умолк, словно ожидая, что я помогу ему продолжить разговор, и я попался на удочку, не заметив опасности, пока не стало слишком поздно. Отказываясь поддержать беседу, я тем самым давал ему возможность вести монолог. Его вкрадчивый голос оказывал на меня гипнотическое воздействие.

— Из пятнадцати арестованных военных преступников, которых вы выявили, пятеро, как вам известно, занимали важнейшие посты, и мы думаем, что недавние самоубийства генералов Фоглера, Мюннца и барона фон Таубе явились скорее результатом давления со стороны их встревоженных единомышленников, нежели угрызений совести.

Он заговорил о трех свидетелях обвинения, найденных убитыми с обезображенными до неузнаваемости лицами.

— Их уничтожили не для того, чтобы уменьшить число свидетелей на процессах в Ганновере: в случае необходимости, как вам известно, свидетелей найдутся тысячи; к тому же у нас имеется столько доказательств и улик, что, уничтожь хоть девяносто процентов свидетелей, все равно будет вынесен обвинительный приговор. Эти трое были убиты в порядке репрессий, и мы думаем, что за ними последуют еще двенадцать, если только полиции не удастся защитить их. В общем итоге пятнадцать человек — по одному за каждого осужденного военного преступника. Этими убийствами они, по-видимому, хотя

запугать других свидетелей, которые могли бы выступить на предстоящих процессах в Бонне и Нюрнберге. Они рассчитывают, что их террористическая тактика сделает ганноверские процессы последними...

Он принялся рассказывать о семидесяти тысячах нацистов, бежавших в Аргентину и проживающих в германской колонии, в городе Сан-Катарине, среди которых находится и Борман, заместитель Гитлера.

— Но Цоссен находится здесь, в Берлине.

Он умолк. И вот почему: он знал, что поймал меня на крючок.

— Гейнрих Цоссен? — спросил я.

— Да.

Худощавый человек. Бледное лицо. Мешки под глазами, отвислая губа. Покатые плечи, как у его фюрера. Маленькие глазки, голубые как льдинки. Голос — словно свирель на зимнем ветру.

В последний раз я видел его двадцать один год назад, августовским утром, когда три сотни людей были выстроены вдоль рва, который их самих заставили выкопать в жирной земле Брюкнервальдского леса. Птицы перестали петь, когда подъехала штабная машина СС и из нее вышел обергруппенфюрер Гейнрих Цоссен. Я видел, как он прошел позади строя голых людей, словно инспектируя их. Затем повернулся и зашагал назад, а я все смотрел на него. Он был довольно молод для своего чина и кичился своей формой. Он не был душегубом. Душегуб на его месте взял бы плеть из рук охранника и, чтобы повеселить нижние чины, пустил бы кровь даже из этих обескровленных тел; брезгливо вздернул бы нос, вспомнив о том, что этих людей привезли ночью за сто тридцать миль в крытых фургонах для скота, по восемьдесят человек в каждом; выхватил бы револьвер и первую пулю пустил бы сам, чтобы начать забаву. Нет, ничего этого Цоссен не сделал. Офицер, он считал это ниже своего достоинства.

Он сделал нечто худшее, и я видел все.

Охранник что-то крикнул, когда один из трехсот вышел из строя и направился к обергруппенфюреру.

Его не пристрелили на месте потому, что Цоссен поднял руку в перчатке, заинтересованный, что хочет от него этот голый человек. Когда-то ростом тот был выше Цоссена; еще и сейчас, хотя кости выпирали из кожи, он был широк в плечах. Эта партия узников долгие месяцы питалась одними корками и затхлой водой. Много времени прошло с тех пор, как они ели то, что можно назвать пищей...

Узник, пошатываясь, приблизился к арийцу и остановился, едва держась на ногах. От усилий, которые он проделал, чтобы преодолеть десять метров, дыхание со свистом вырывалось у него изо рта и ребра ходили под кожей, свисавшей дряблыми складками. Я слышал, как он спросил у Цоссена разрешения прочитать зауспокойную молитву. Обергруппенфюрер не сбил его наземь ударом кулака за дерзость, как я ожидал. Он был офицером. Он только взглянул на часы, на мгновение задумался и покачал головой:

"Некогда. Дорога очень плохая, а я хочу поспеть в Брюкнервальд к обеду". Он подал знак штурмбаннфюреру, и пулеметы открыли огонь...

Гейнрих Цоссен. Я запомнил его.

Из простого чувства чистоплотности следовало бы оставить эти воспоминания при себе, но в 1945 году в качестве главного свидетеля обвинения в трибунале я был вынужден подробно изложить этот эпизод в числе многих других. Остальные были не лучше... Впоследствии отмечалось, что за все время моих показаний, тянувшихся в общей сложности пятнадцать недель, я держался внешне спокойно, был объективен и лишь однажды потерял контроль над собой, рассказывая о Гейнрихе Цоссене. Даже теперь, двадцать один год спустя, в Берлине, я был не в состоянии, придя в ресторан, открыть меню, в котором было это слово — "Mittagessen" — обед.

Поль молчал, понимая, что пошел с козырного туза. Цоссен находился в Берлине.

— Что ж, надеюсь, вы его схватите, — сказал я наконец.

Поль продолжал молчать, ведя свою игру.

— Но думаю, что вы ошибаетесь. По слухам, он находится в Аргентине.

Теперь мы заговорили оба, и я знал: он понимает, что выиграл.

— Его видели в Берлине неделю назад.

— Кто?

— Свидетель на процессе.

— Я могу поговорить с ним?

— Он "упал" с десятого этажа на следующий день после того, как сообщил нам об этом.

— Олбрихт?

— Да.

— Он мог ошибиться.

— Он хорошо знал Цоссена. Вам это известно.

— Значит, таково мое задание? Цоссен?

— Это лишь часть задания.

— Итак, вы предлагаете мне взяться за это...

— Да.

— ...зная, что я хотел бы видеть его на скамье подсудимых. Не выйдет. Теперь их больше не вешают, — неожиданно для себя сказал я, хотя верил, что Поль говорил правду. — Однако, сообщите мне все сведения и не задавайте больше вопросов.

Он одобритительно молчал.

— Я измотался, понятно?

— Конечно. После шести месяцев...

— Не разговаривайте со мной так, словно вы сестра милосердия!..

Он вновь замолчал. Гул голосов под сводчатым потолком стал громче — зрители из фойе устремились в зал.

— Ладно, Поль, не тяните. Приканчивайте меня.

— Тысячи нацистов все еще проживают в Германии по фальшивым документам. Американское бюро генерала Гелена исподволь освободило сотни офицеров СС и вермахта, когда генерал Хойзингер продиктовал свои условия штабу НАТО, и с тех пор они реорганизовали германскую армию, которая является сейчас, пожалуй, самой многочисленной и хорошо вооруженной армией в Европе. Германская авиация по своей мощи в настоящее время превосходит британские воздушные силы. Германский генеральный штаб ведет секретные, направленные против НАТО, переговоры с Испанией, Португалией и африканскими странами; им созданы базы ракет типа "земля — земля". Множество гитлеровских офицеров вернулись к власти и пользуются влиянием, заняв ключевые позиции как в гражданской, так и в военной сферах. Они получили свои нынешние посты несмотря на то, что их прошлая деятельность хорошо известна. В самом генеральном штабе активизируются реваншисты. Это убежденные нацисты, готовые на все, когда наступит подходящий момент. Если...

— Вам сообщили все эти подробности в Центре? — перебил я.

— Я не начальство, а такой же исполнитель, как и вы.

— Если я возьмусь — пока что еще не решил — за это задание, то не раньше, чем смогу убедиться в справедливости вашей аргументации. На это потребуется не один день. Я лично считаю, что Германский генштаб способен развязать войну с тем же успехом, что и ку-клукс-клан.

— Позвольте мне напомнить вам сказанные обвинителем от Соединенных Штатов на Нюрнбергском процессе слова: "Германский милитаризм будет хвататься за любую возможность, которая поможет ему восстановить силы для развязывания новой войны".

— Нельзя начать войну без народа.

— Народ никогда не начинает войн. Войны всегда затевают политики и генералы. Десять лет назад

— и всего лишь десять лет назад после окончания кровопролития — в честь Кессельринга был созван слет бывших фашистских солдат. Народ протестовал, но полиция разогнала демонстрантов.

— Народ все еще протестует, об этом свидетельствуют хотя бы процессы.

— Но теперь проведение процессов становится все более затруднительным. Военных преступников, признанных виновными, больше не вешают, зато свидетелей обвинения убивают. Времена меняются. Я сидел, закрыв глаза. Огни в зале погасли. Поль молчал. Он хорошо понимал, что, когда желаешь убедить кого-либо, нужно делать паузы и давать собеседнику время на размышление.

— Все это политика, — неуверенно произнес я. — Оставьте ее себе.

Он не ответил.

— Я не утверждаю, Поль, что держу палец на пульсе истории или знаю, какое будущее ожидает человечество. Просто я чертовски устал. Вы ошиблись ложей, как я уже говорил...

Поль шевельнулся, и я открыл глаза. Откуда-то он достал небольшую папку из искусственной кожи.

По-видимому, он прятал ее под пиджаком. Иначе я бы уже заметил ее. Он положил папку мне на колени.

— Это вам.

Я не прикоснулся к папке.

— Будь проклято ваше появление, Поль.

— Мы выделили человека, который будет прикрывать вас, — мягко произнес он.

— Мне не нужно прикрытие.

— А что будет, если вы окажетесь в тяжелом положении?

— Я сам из него выберусь.

— Знаете ли вы, какой вас ждет риск, Квиллер?

— А у КЛД было прикрытие?

— Да, но очень трудно уберечь человека от выстрела с дальней дистанции.
— Они разделяются со мной таким же способом, если уж до этого дойдет. Никакого прикрытия, Поль. И не вздумайте прикреплять ко мне людей без моего ведома. Я предпочитаю действовать в одиночку. Запульсировала вена на ноге, предвестник судороги. Я шевельнулся, и папка скользнула на пол. Я оставил ее там, где она упала.

Заиграла музыка.

— Можете положиться на двух людей, — произнес Поль.

— Никаких людей!

— Один — американец, Фрэнк Брэнд; другой — молодой немец, Ланц Хенгель. Они...

— Пусть они оставят меня в покое.

— У вас есть связной...

— И связной мне не нужен.

— Ваш связной — я.

— Тогда и вы держитесь от меня подальше! Если уж я возьмусь за это, то только на своих условиях. Они не должны были посылать этого Поля, ловить меня на крючок. Ублюдки... Чарингтон мертв — давай другого! Интересно, кого они найдут после меня? Шесть тяжелых месяцев — и теперь опять! И только потому, что я оказался под рукой, а в их распоряжении был крючок с наживкой. "Существует только один способ убедить его, — так, наверное, говорили они, стоя вокруг письменного стола в просторном лондонском кабинете, где пахло свежим лаком, — и этот способ — сказать ему, что Цоссен в Берлине". И они задымили сигарами и послали за Полем.

Мне было безразлично, соответствовал ли истине монолог относительно возрождающегося фашизма или нет. Услышав про Цоссена, я не нуждался ни в каких других приманках. Поль зря тратил время. Начиналась судорога, и я прополз на четвереньках обратно в ложу и сел в кресло, будто только что вернулся после антракта. Поль сделал то же самое и аккуратно обтер руки о колени. Я сидел с закрытыми глазами, размышляя.

Я понимал, что сам во всем виноват. Много лет я действовал сугубо конспиративно, как был обучен, поэтому, когда меня направили сотрудничать с федеральной комиссией "Зет" для выявления военных преступников и предания их суду Ганноверского трибунала, я не видел надобности вылезать на свет божий. Иначе мое лицо за эти полгода стало бы известно всем, в том числе и людям, вооруженным винтовками с телескопическим прицелом.

Однако это могло бы и не заботить меня, так как я ездил из Ганновера в Берлин и обратно с охраной в шесть человек, словно какой-нибудь премьер-министр. Но именно мои настояния на соблюдении конспирации и привели к тому, что я сам попался на крючок. После шести месяцев я знал Берлин как свои пять пальцев, как собственную физиономию, хотя сам не был известен в Берлине никому.

Не удивительно, что они остановили свой выбор на мне.

Некоторое время Поль, должно быть, думал, что я откажусь. Затем, поняв, что все в порядке, положил папку мне на колени. В ней, очевидно, содержалась информация, которую они могли мне предоставить: имена и фамилии, досье, разработки, указания — все собранное в архиве Центра, полный и исчерпывающий анализ предстоящего поля действия. Но они обратились ко мне еще и по другой причине — потому что я знал больше их.

— Поль, — позвал я.

Он сидел, сложив руки на коленях, и смотрел на сцену. Он наклонился ко мне.

— Дайте указание, чтобы мой телефон не прослушивался больше. Если я услышу в трубке пощелкивание, я хочу быть уверенным, что это включилась противная сторона.

— Хорошо.

— И никакого прикрытия.

— Ладно.

— Связь как обычно — почта и биржевые бюллетени.

— Приемлемо.

Сцена начала заполняться действующими лицами, и музыка зазвучала громче. Я попросил у Поля его фотографию, и он протянул ее мне. Молния на папке открывалась бесшумно. Внутри находилась другая папка, черная, поменьше.

Это был меморандум. Между отпечатанными на машинке строками было начертано мое будущее, мой дальнейший образ жизни. Там ничего не говорилось о том, каким образом я могу умереть. Это был документ исключительно частного порядка...

Я сунул фотографию в папку и задернул молнию.

3. СНЕГ

Снегопад прекратился. Укатанный колесами автомобилей, снег ледяным покровом сковывал мостовые. Автомобили двигались медленно и бесшумно. На Курфюрстенштрассе возле поваленной дорожной тумбы стояла разбитая машина. Несколько человек прицепляли ее к грузовику, чтобы отбуксировать. Ржавая вода текла из радиатора.

Над крышами домов нависло черное небо, и звезды казались небывало близкими. В такую ночь легко представить, что земля тоже является звездой, несущейся в безвоздушном мраке. Даже меховой воротник не защищал от этой мысли.

Я вышел из ложи за минуту до Поля. Спускаясь в толпе по главной лестнице, он уже не видел меня. Я стоял, прислонившись к стене, разглядывая его в зеркале над лестницей и сравнивая с фотографией. Проходя мимо театральной кассы, я попросил конверт, на улице сунул в него фотографию, надписав "Евросаунд" и без марки опустил в почтовый ящик на углу.

В хорошую погоду дорога до моего отеля заняла бы минут пятнадцать. Сегодня на это ушло полчаса. Ледяная корка хрустела под ногами. Только четверо из моих стражей находились в поле моего зрения; держась в отдалении, они сопровождали меня от самого театра. Они хорошо несли службу, но, по существу, были бесполезны. Вся система такой охраны бесполезна. Предполагалось, например, что в театре

я буду в безопасности, но ведь вместо Поля мог явиться и кто-нибудь из врагов, без особого труда пырнуть меня ножом, и ни один человек даже не заметил бы этого.

На Бюловштрассе были вывешены последние объявления. Заметив фамилию Петерса, я купил вечерние газеты. Эвальд Петерс являлся начальником личной охраны канцлера Эрхарда. Всего лишь месяц назад он ездил в Лондон для обеспечения безопасности канцлера на тот случай, если кому-нибудь вздумается швырнуть в канцлера гнилым помидором, когда тот придет с официальным визитом в Англию. Сегодня его арестовали по обвинению в массовых уничтожениях евреев. Он являлся старшим офицером криминальной полиции ФРГ, ответственным за охрану канцлера, президента республики и государственных деятелей других стран, посещавших Бонн. Что знал о нем Эрхард? По-видимому, ничего. Недавно на партийном съезде вопреки определенному давлению он настоял на продолжении судов над бывшими военными преступниками и отверг настояния об амнистии, в результате которой многие нацисты были бы освобождены из тюрем. Если бы у него были подозрения в отношении своего главного телохранителя, он немедленно расстался бы с ним.

Петерс был арестован по настоянию комиссии "Зет". Я уважал ее сотрудников за хватку. Внутри этой комиссии уже давно шли волнения. Ее задача состояла в том, чтобы выкорчевывать остатки нацистов, а среди руководства и во всех звеньях комиссии находились бывшие нацисты, поэтому с каждым новым арестом лояльные сотрудники все больше и больше рисковали своим служебным положением. Весьма странная организация.

Вчера арестовали Ганса Крюгера, западногерманского министра по делам беженцев. Обвинение: он был судьей особого военного нацистского трибунала в оккупированной Польше. Через несколько дней в газетах появится новое имя — полиция связывает сейчас концы порванной нити — Франц Ром, руководитель отдела регулирования дорожного движения. Я потратил три недели, пока отыскал его. Мне это доставило особое удовольствие; некоторые из тех, кого я разоблачил, кончали с собой, и я знал, что Ром

был готов теперь в любой день сам сунуть голову в петлю. Я не сторонник высшей меры наказания (она была отменена в Западной Германии в 1949 году, и ладно), но эти люди сеяли вокруг себя заразу, и пусть лучше они повесятся, чем живут и заражают других.

Снег поскрипывал под ногами.

Я свернул в Крейцберггартен и прошел мимо замерзшего фонтана, похожего на глазированный торт. Сделав десяток шагов, я заметил среди кустарника чью-то тень и отпрянул в сторону. Когда человек прошел мимо меня, я вышел на свет и обратился к нему по-немецки:

— Известите местную резидентуру. Я встретился с Полем. По буквам: П-О-Л-Ь. Пусть незамедлительно отзовут охрану. Связь осуществлять по известным каналам.

— Чтобы оставить пост, я должен получить указание.

— Чем скорее, тем лучше, — сказал я. — Пусть другие остаются, вы же отправляйтесь за указанием, а затем снимите и их. Я желаю иметь чистое поле деятельности сегодня с полуночи.

Я зашагал дальше. Ближе к отелю по Шонерлинден-штрассе тротуар был очищен от снега. С Темпльгофского аэродрома, который находился в миле отсюда, донесся шум взлетающего самолета, и я обернулся — посмотреть на его огни.

Утром мне предстояло вернуть билет на самолет Люфтганзы, вылетающий рейсом 174, потому что между строк трижды проклятого меморандума было сказано, что я должен остаться.

Хелдорф... Сикерт... Кальт... Наумен... Кильман...

Больше сорока фамилий, перечисленных на одном из листов меморандума, каждая из которых, возможно, имела связь с Гейнрихом Цоссеном, в течение получаса засели у меня в памяти, а сам листок был присоединен к другим, подлежащим сожжению. Моя привычка — путешествовать налегке: к утру весь меморандум был кремирован.

До сих пор я вылавливал мелкую рыбешку. За крупной добычей направляли КЛД, но его уже нет в живых. Крупной добычей считались такие люди, как Борман, заместитель Гитлера, Мюллер, генерал фон Риттмайстер. Они убежали из Берлина под огнем русских батарей в 1945 году, целая шайка их бежала в Оберзальцерг и дальше, в то время как узкоплечий труп их фюрера, завернутый в ковер, был облит бензином и сожжен. Некоторые бежали в четырехмоторном самолете Гиммлера из Флаугхафена, находящегося в миле отсюда, взмыв в предрассветное небо, темное от дыма пожарищ. Из окна своего нынешнего номера в отеле я мог бы видеть огни самолета с беглецами.

Я подошел к окну. Тихая ночь, спящий город. Настоящее и прошлое было укутано снегом. Что заставляет нас рыться в пепле далекого ада, отстоящего от нас на двадцать с лишним лет?

"Есть ли у нас время, чтобы помолиться?" — спрашивали те люди. А Цоссен качал головой.

От моего дыхания оконное стекло запотело. В комнате было слишком жарко, я выключил отопление и поработал еще около часа. Когда половина меморандума запечатлелась в моей памяти, я вышел на улицу и

погулял по морозному воздуху, чтобы перед сном очистить легкие. Улицы были пустынные.

Хотя я еще не решил, согласиться мне заменить КЛД или нет, но план действия уже предстал передо мной точно так же, как в голове у шахматиста возникает весь ход предстоящей партии еще до того, как он начал разыгрывать гамбит. Я сказал Полю: "Я буду действовать в одиночку", — потому что эту операцию следовало провести или быстро, или никогда. Это своего рода блицкриг. Я мог оставаться в этом городе месяц, не больше. В течение месяца я должен разыскать Цоссена или выйти из игры.

Для этого существовало два пути: медленный и быстрый. Медленный состоял в том, чтобы вспугнуть всех этих людей одного за другим — Хелдорфа, Сикерта, Кальта, все сорок с лишним человек, в надежде, что они приведут меня к Цоссену. Поль ошибался, сказав, что Цоссен — лишь часть задания. Даже беглое чтение меморандума подсказало мне, что Цоссен являлся всем заданием. Сбей его с ног — и повалятся все

остальные. Разработка всех сорока с лишним человек, возможно связанных с Цоссеном, прояснила бы очень многое и помогла добраться до него. Именно этого и желал Центр. Но это был медленный путь.

Быстрый путь привел бы к тем же самым результатам. Поэтому иди прямо к Цоссену и бей.

Быстрый путь заключался в том, чтобы перевернуть вверх тормашками весь порядок вещей. Ради того, чтобы найти одного человека среди почти четырех миллионов, я должен был заставить его искать меня. Пусть он узнает, что я здесь, и не для чего-нибудь иного, а именно для того, чтобы он раскрылся. А затем попытаться покончить с ним до того, как он успеет покончить со мной. Кто быстрее. Поэтому я и заявил Полю, что должен работать в одиночку. Единственно возможный для меня путь был быстрый, и я не желал, чтобы у меня под ногами путались охранники, которые будут только мешать мне и к тому же еще могут быть убиты.

Снег поблескивал под светом фонарей. Пока я работал над меморандумом, прошел еще небольшой снегопад, и тротуары вновь покрылись снегом. Было уже далеко за полночь, на улицах ни души. После шести месяцев, в течение которых меня прикрывали мои люди, сейчас я был одинок: мое сообщение уже получили и отозвали охрану.

Когда я возвращался в отель, единственные следы на снегу были мои.

4. СТЕНА

— Ваше занятие, герр Штроблинг?

— Торговец цветами.

Небрежно закинув ногу на ногу, он не спеша высморкался, чтобы мы успели полюбоваться его белым шелковым носовым платком. В петлице темного пиджака — цветок. Брюки в полоску. Сверкающие ботинки.

— Вы торгуете цветами?

— Я владею несколькими цветочными магазинами.

— Поэтому вы и носите цветок в петлице?

— Я всегда ношу цветок.

Кто-то захихикал.

Унылый свет проникал через высокие холодные окна. Отопление было включено на полную мощность, но все же многие в зале кутались в пальто, словно их знобило.

Я особенно внимательно разглядывал людей в зале. Подсудимые и без того были мне хорошо знакомы. Я не знал, кто были зрители. Здесь присутствовали жены обвиняемых, явившиеся в суд вместе с мужьями, так как большинство подсудимых были выпущены на поруки и после окончания судебного процесса могли спокойно отправляться по домам. На балконе сидели люди, пришедшие одни, которые так же в одиночестве и уйдут отсюда. Сгорбившись в своих пальто, они не оглядывались по сторонам. Было тут и несколько женщин. Одна девушка пришла с опозданием, и я обратил на нее внимание. У нее была привлекательная внешность, но я заметил ее не из-за этого.

— Пристав!

Какой-то человек пытался выйти из зала, и по возгласу судьи служитель остановил его у двери.

— Куда вы идете, адвокат?

— Я жду посыльного, господин судья.

— Покидать зал заседаний не разрешено. Я уже предупреждал вас.

— Но ожидаемое сообщение имеет отношение к моему клиенту...

— Займите свое место.

Утомлённые голоса, давно избитые формулы. Подобная тактика, имевшая целью помешать суду, была известна: защитник пытался покинуть зал, желая получить возможность апеллировать к суду, — его подзащитный, мол, формально не присутствовал на судебном заседании, так как в это время в зале не было его адвоката.

Не менее часты были и процессуальные протесты. Желтые газеты ополчились против этого процесса и вообще против всех процессов над военными преступниками, в то время как в зале суда при каждом удобном случае совершались попытки превратить судебное разбирательство в фарс.

Председательствующий обладал удивительным терпением, благодаря которому держал в рамках как адвокатов, так и присяжных заседателей...

Я наблюдал за присутствующими в зале, вполуха слушая допрос обвиняемых.

— Не будете ли вы так любезны сообщить нам, каковы были ваши обязанности в лагере, герр Штроблинг?

Подсудимый внимательно выслушал вопрос. Аккуратно одетый, седовласый, со спокойными глазами за тяжелыми очками в черной роговой оправе — его можно было принять за пользующегося заслуженной известностью врача и доверить ему свою жизнь.

— Поддерживать спокойствие, порядок и, конечно, чистоту.

— А специальные обязанности?

— У меня не было специальных обязанностей.

— Свидетели показывают, что вам вменялось в обязанность отбирать для газовых камер мужчин, женщин и детей, привозимых в лагерь в автофургонах для скота.

Это произнес обвинитель, молодой человек, исхудавший от долгих месяцев ознакомления с материалами дела, каждая страница которого повествовала о невообразимом.

— Один из очевидцев утверждает, что вы отняли костыли у калеки и избили его до полусмерти за то, что он не мог быстро пройти в газовую камеру.

— Я ничего не знаю об этом.

— Вы не смеете утверждать, будто ничего не знаете. Вы можете сказать, делали вы это или не делали. Забыть вы не можете.

Что за цветок, камелия или гортензия, был у него в петлице? Со своего места я не мог разглядеть.

— Это было двадцать лет назад.

— Это было двадцать лет назад и для свидетеля, однако он помнит.

Я смотрел на присутствующих в зале. Среди них возник ропот.

— Вы хотите сказать, что эти люди добровольно шли на смерть?

— Да, мы говорили, что их ведут в дезинфекционные камеры.

— И они оставляли свою одежду в раздевалке и мирно следовали в газовые камеры?

— Да, без всякого принуждения.

— Но свидетель показывает, что многие из них знали, куда их ведут. Женщины прятали своих детей в ворохе одежды в раздевалке в надежде спасти их. Свидетель показывает, что лично вы, герр Штроблинг, руководили поисками этих младенцев, и когда находили, то насаживали их на штык.

Здесь было слишком душно, слишком тягостно, чтобы лгать.

— Это были всего лишь евреи. Я же вам говорил.

Какой-то человек в фуражке с козырьком громко зарыдал и не мог успокоиться. Пристав вывел его.

Заурядный случай.

Миловидная девушка проводила меня взглядом. Лицо у нее было белое как мел.
Гул голосов.

— ...Но я был облечен полной и законной властью, абсолютной властью обращаться с этими заключенными так, как я считаю правильным!

— И вы сочли правильным подвергать мукам десятилетнего мальчика ради того, чтобы развлечь ваших друзей?

— Исключительно в порядке обучения. Но это не были мои друзья, это были мои подчиненные, большинство только что закончило военно-учебные заведения! Их волю следовало закалять, и у меня были ясные указания на этот счет.

Запричитала женщина, раскачиваясь из стороны в сторону, запричитала с яростью, скрипя зубами, вперив взгляд в обвиняемого. По знаку судьи ее тоже вывели из зала. Ни разу за шесть месяцев я не видел, чтобы женщины рыдали. Только мужчины. Женщины причитали или кричали от ярости.

— ...Таков был приказ штандартенфюрера Гетце!

— Его нет здесь, чтобы подтвердить ваши слова.

Да, его здесь нет. Он все еще в Аргентине, несмотря на то, что министерство юстиции Бонна просило о его выдаче. Он тоже запечатлелся в моей памяти в числе сорока других из сожженного меморандума. Гетце...

— И все то время, что вы исполняли эти "административные обязанности", герр Штроблинг, вы, как утверждаете, не знали ни одного случая смерти среди заключенных?

На этот раз обвиняемый нервно прикусил ноготь на большом пальце.

— Я знал лишь несколько таких случаев.

— Всего несколько случаев? Из трех с половиной миллионов людей, уничтоженных только в этом лагере, вы знали всего о нескольких случаях?!

Молодой прокурор снова начал пить воду. Графин, стоявший перед ним, уже трижды наполняли. Он пил большими глотками, тяжело переводя дыхание, словно только что совершил дальний пробег. Все время, что он пил, он не отводил взгляда от обвиняемого.

Я смотрел в зал, но среди присутствующих не было ни одного знакомого лица. Случалось, сюда приходили влекомые своими преступлениями люди, чтобы вспомнить свои деяния, слушая допросы свидетелей или глядя на демонстрируемые здесь же кинодокументы. Именно так мне удалось раскрыть пятерых...

Но сейчас я хотел отыскать только одного из всех живущих в этом городе. Цоссена. Из многих людей, запечатлевшихся в моей памяти, в обществе этого человека я видел не больше дюжины, и ни одного из них не было в этом зале.

Уже наступили сумерки, когда судебное разбирательство закончилось. Я ожидал у дверей, пока схлынет толпа. Люди покидали зал, будто пробудившись от кошмаров, привидевшихся под общим наркозом. Я знал, что трое из присяжных находились под постоянным наблюдением врачей, опасавшихся нервного припадка.

Девушка, на которую я обратил внимание, шла впереди меня. Сквозь широкие двери, распахнутые настежь, на покрытую снегом улицу падал яркий свет. Воздух имел привкус металла. Сунув руки в карманы, я шагал за ней. Большинство людей шло в обратную сторону, к ближайшей станции железной дороги. В моем поле зрения осталось всего трое: мужчина, пытавшийся остановить такси; другой мужчина, направлявшийся к аптеке рядом со зданием суда, и девушка.

Напротив Нейесштадтхалле начинается узенькая улочка, образуя Т-образный перекресток с Виттенштрассе, по которой я шел. Фонари тускло освещали глухую стену, за которой находилось кладбище.

Они промахнулись.

Машина вылетела из боковой улицы и, сделав резкий поворот, процарапала задним крылом по стене так близко от меня, что осколки кирпича засыпали мне лицо. Я мгновенно откинулся назад и, упав, тут же откатился в сторону параллельно машине и ногами вперед на тот случай, если они рискнут стрелять. Но этого не произошло. Я услышал только удаляющийся вой мотора и странный вопль. Поднявшись, я увидел девушку, прижавшуюся к стене и дрожащую от страха.

— Вы не ранены? — спросил я по-немецки.

Я не разобрал ее слов: казалось, она тихо проклинает кого-то. Она бросилась было за автомобилем, даже не услышав моего вопроса. Пальто ее не было испачкано снегом, она не падала. Глубокая царапина тянулась по стене, и кирпичная пыль и осколки окрасили снег под ней.

Сегодня из-за погоды машины продвигались по улицам с умеренной скоростью, но эта пронеслась как вихрь, и, если бы ее не занесло на льду, она разможила бы меня об стену, протаскивая по ней, словно

малярную кисть, окунутую в красную краску.

Такой маневр требовал точного расчета, но был куда проще, чем казалось. Я исполнял этот трюк с мешками, набитыми песком, так как во время обучения от нас требовали знания этой штуковины на тот случай, если мы сами когда-нибудь станем мишенями.

Делалось это следующим образом: насколько можно дальше от цели набрать скорость, затем выжать сцепление и при включенной малой передаче бесшумно двигаться вперед по инерции под углом к стене.

В

нескольких метрах от цели отпустить сцепление, повернуть руль и дать резко полный газ. При этом машину заносит так, что мишень оказывается между задним крылом и стеной. Затем отпустить ногу и давать деру.

Я пропорол четыре мешка из пяти. Но сейчас меня спасла не тренировка, а снег.

Наконец, девушка произнесла что-то членораздельное.

— Что? — не расслышав, спросил я.

— Они хотели убить меня, — выговорила она. У нее был явный берлинский акцент. Я подумал, что в нормальных условиях ее голос должен быть менее хриплым, чем сейчас.

— Вот как? — отозвался я.

Она шла быстро, почти бежала.

Когда я догнал ее, она резко обернулась и остановилась, будто собираясь защищаться насмерть.

Прохожий подошел к нам и спросил:

— Может быть, вам помочь, фрейлейн?

Она, даже не взглянув на него, не сводила с меня глаз.

— Нет.

Человек скрылся. Она глядела на меня пристально, словно кошка.

— Я не из них, фрейлейн Виндзор.

— Кто вы?

— Не из них.

— Оставьте меня в покое. — Зрочки, все еще напуганные, расширились от ярости.

— Соблаговолите разрешить мне отвезти вас на такси? Она не реагировала на "Виндзор", но я упорствовал, так как от испуга она могла не обратить внимания на пароль.

— Я пойду пешком.

Мерзавцы явно охотились за мной, а она считала, что за ней; это могло означать, что она из наших, но вряд ли — она не ответила ни на первое, ни на второе условное слово. В комиссии "Зет" работало несколько женщин: возможно, что она одна из них.

Девушка попыталась от меня, сунув руки в карманы пальто, сшитого по военному образцу. Не желая, чтобы она ускользнула от меня, я произвел выстрел с дальним прицелом.

— Им повезло не больше, чем в прошлый раз, не так ли?

Она сразу остановилась, глаза ее сузились.

— Кто вы?

Мой номер удался. Они уже покушались на нее. В первый раз вы не всегда понимаете это, особенно если покушение похоже на несчастный случай, но во второй раз у вас появляются подозрения и страх. Именно в таком состоянии она сейчас находилась.

— Давайте пойдем куда-нибудь и прополощем горло от кирпичной пыли, — предложил я, сознательно произнося это не на лучшем своем немецком языке, в расчете, что английский акцент успокоит ее; люди в машине были нацистами, потому что они пытались убить меня; она тоже должна знать, что это нацисты, так как верила, что они хотели убить ее, а в Германии вряд ли найдется много нацистов с таким сильным английским акцентом, как мой.

— Как вас звать?

— Мое имя вам ничего не скажет... Вон там я вижу бар.

Не мигая, она долго разглядывала меня, потом сказала:

— Лучше пойдем туда, где безопаснее. Ко мне домой.

По дороге, как только раздавался шум автомобиля, она дважды прижималась к дверям магазинов, а я каждый раз продолжал шагать вперед, потому что, если они решили совершить еще одну попытку убить меня, я не хотел оказаться слишком близко к девушке и подвергать ее опасности. И всякий раз я оборачивался, следя за машиной, готовый в случае необходимости отпрянуть в сторону.

До ее квартиры было около мили, и, пока мы шли, я все время думал об одном: как им удалось так быстро распознать меня? Ответы были неудовлетворительными, все без исключения. Они могли зацепить меня из-за моих охранников, которые меньше заботились о том, чтобы оставаться незамеченными, чем о

том, как бы не потерять из виду меня и всех тех, кто со мной общался. Они могли даже знать, что я отменил свой отлет в Лондон, и решили, что раз так, — пусть себе остается, но только не живым. Они могли узнать также, что сегодня утром, вместо того чтобы поехать, как обычно, в Ганновер, я пошел в Нейесштадтхалле, и задумались над тем, почему я вдруг стал посещать не свои обычные места. Я знал только одно: за мной не следили. Я всегда знаю, когда за мной следят.

Если в той машине не были просто случайные убийцы, то приказ о том, чтобы прикончить меня, отдан сверху. В таком случае мне незачем высовывать голову, чтобы привлечь на себя их огонь: они уже вели его. Не прошло и двадцати четырех часов с момента моего решения пуститься на охоту за Цоссеном, как Цоссен начал охотиться за мной.

5. "ФЕНИКС"

Не доверяя мне на улице, она готова была поверить мне в более опасной обстановке — у себя дома, — и я решил, что там она рассчитывала на какую-то защиту.

Так оно и оказалось. Войдя в комнату, я застыл на месте. Огромная овчарка стояла, низко опустив голову и пружиня задние ноги, готовая к прыжку. Она глухо рычала, устремив глаза на мое горло.

Я видел их в Бельзене и Дахау. Видел, как они загрызали людей.

Девушка не спеша сняла пальто, чтобы дать мне время обдумать собственное положение, хотя все было ясно и так. Если бы, даже невзначай, я поднял руку и хоть на дюйм протянул ее в сторону девушки, я бы мгновенно превратился в мертвеца. Поэтому я держал руки по швам, не сводя глаз с собаки. Я не выказывал страха, который мог бы спровоцировать пса, зная, что он не нападет на меня, если на то не последует команды хозяйки.

— Спокойно, Юрген, спокойно, — произнесла она наконец.

Пес отошел, и я понял, что могу двинуться с места.

— Полицейское обучение, — заметил я.

— Да. — Девушка стояла, внимательно разглядывая меня, как и раньше, на улице.

Она была худощава, угловатые линии ее тела еще больше подчеркивали черный свитер и брюки.

Несмотря на внешнее высокомерие и волосы, казавшиеся золотым шлемом, во всем ее облике и ломком голосе чувствовалась беспомощность, которую встречаешь обычно у человека с револьвером в руке: этим самым он показывает, что это все, что у него имеется. У нее была собака.

— Вы все еще не доверяете мне? — произнес я. Она сказала собаке "спокойно", а не "свой". Если я еще раз переступлю порог ее дома в одиночестве, овчарка мгновенно набросится на меня, несмотря на то, что уже видела меня здесь в обществе хозяйки.

— Что вы будете пить? — спросила она.

— Что угодно.

Я улучил секунду и огляделся. Черный цвет и жесткие линии царили здесь: черная мебель с острыми углами, несколько аляповатых абстрактных рисунков, два кабаньих клыка на эбеновом дереве.

Она принесла шотландское виски и сказала:

— Я не доверяю всем без разбора.

— Меня это не удивляет, — ответил я. — Каким образом они пытались убить вас в первый раз?

— Я стояла на остановке троллейбуса.

— И вас толкнули?

— Да. Как раз когда подходил троллейбус. Водитель сумел вовремя затормозить. Вы связаны с комиссией "Зет"?

— Что это за комиссия "Зет"? — Она ничего не ответила и отвернулась. Юрген внимательно следил за ней и за мной.

— Вы слишком молоды, фрейлейн Линдт, — сказал я. — И ничего не можете знать о войне...

Она резко обернулась и увидела на секретере вскрытый конверт "Фрейлейн Инга Линдт".

— ...Почему же вы ходите в Нейесштадтхалле?

Она сделала несколько шагов по направлению ко мне и остановилась. Меня вдруг поразило, что ни от нее, ни вообще в комнате не пахло никакими духами. Она стояла совершенно неподвижно.

— Готовы ли вы показать мне ваши документы?

Я протянул ей паспорт. Квиллер. Сотрудник Красного Креста. Особые приметы — шрамы в паху и на левой руке. Всего две отметки о поездке за границу в Испанию и Португалию. Мы не любим, чтобы о нас думали, будто мы много путешествуем.

— Благодарю вас, мистер Квиллер. — Казалось, она слегка успокоилась. Видимо, ей не было известно, что лгать лучше фотоаппарата может только паспорт.

— Я разыскиваю людей, чьи родственники умерли в Англии, — сказал я. — Упоминания о них возможны в показаниях свидетелей или обвиняемых на процессах, поэтому я и хожу по судам.

Не думаю, чтобы она слушала меня. Она приблизилась и смотрела на меня в упор.

— Вы англичанин. Скажите, что вы, как англичанин, думаете об Адольфе Гитлере?

— Маньяк.

Ее губы презрительно сжались.

— Англичане сидели себе в безопасности на своем островке. Они ничего не видели.

— Ничего. — Шрам в паху был памятью о Дахау. Я плохо определяю возраст людей. Самое большее, что я мог позволить себе в данном случае, — это руководствоваться некоторыми фактами: девушка, которая по доброй воле ходила на процессы преступников, обвиняемых в массовых убийствах, убежденная

в том, что ее дважды пытались убить, державшая в доме овчарку для собственной защиты и пытавшаяся скрыть тревожащие ее волнения, должна выглядеть старше своих лет. Она выглядела на тридцать.

— Когда, наконец, люди поймут, что его нужно вычеркнуть, немедленно вычеркнуть из жизни, чтобы он перестал существовать?! — произнесла она со стоном, напомнившим мне ее вопль у стены.

Подобные женщины существовали во все времена: достаточно вспомнить Митфорд. Теперь они почти вымерли, но иногда все же еще встречаются. Моя новая знакомая достигла той стадии одержимости,

при которой любовь-ненависть дошла до предела: она должна была говорить об этом вслух, излить душу даже совершенно посторонним людям, лишь бы получить подтверждение, что находится на правильном пути.

— Лучший способ стереть его с лица земли, — сказал я, — это вовсе перестать думать о нем. Ни один человек не умирает до тех пор, пока последний из его близких любит его.

Лицо ее сморщилось, ее начало трясти, и все кипевшее у нее внутри вырвалось наружу в бурном потоке слов. "Никто не может понять" и "у меня все совсем по-иному..." — бормотала она, а я тихонько сидел в черном кресле и слушал. Наконец, она заговорила о фактах. Она сидела на ковре, прислонившись худеньким плечом к стулу, измученная, истощенная.

— Я была в бункере...

— В бункере фюрера?

— Да. — После первого глотка она больше не притрагивалась к бокалу.

— Когда?

Она посмотрела на меня отсутствующим взглядом.

— А вы не понимаете, когда?

— Я хочу спросить, в начале, в середине или в конце?

— Все время.

— Сколько вам тогда было лет?

— Девять.

— Ребенок.

— Да.

Голос у нее стал глуше. Ее ответы были затверженными, заученными, видимо, она уже неоднократно давала их врачам-психоаналитикам. Она сидела сгорбившись, закрыв глаза. Я продолжал задавать вопросы, пока она не втянулась в эту игру. Это был классический прием, и она поддалась ему.

— Моя мать была медсестрой у доктора Вайсмюллера. Вот почему я оказалась там. Вместе с детьми Геббельса нас было семеро детей, и у нас не было ничего общего со взрослыми. Я любила дядюшку Германа — он дарил мне медали и разные разности.

Она говорила о Германе Фегелине из войск СС.

— Я видела, как его привели обратно. Он бежал из бункера, и его схватили. Я слышала, как Гитлер кричал на него, а потом его вывели в сад канцелярии и застрелили, а я даже не плакала. У меня не было слез. Я все спрашивала маму, почему убили дядюшку Германа, и она сказала, что он плохой человек. В первый раз я тогда поняла, что такое смерть: люди уходили, и вы никогда, никогда больше не видели их. Затем по ночам меня начали мучить кошмары, и все внутри у меня разрывалось в клочья. Взрослые вели себя так странно... Я начала прятаться по углам и прислушиваться к разговорам, потому что отчаянно хотела узнать, что происходит со всеми. Однажды Фрау Юнга сказала, что Гитлер умер. Конечно, я не поверила ей: он был богом для меня, для всех нас. В саду стоял запах горелого, и кто-то из охраны увидел меня и отвел домой, к маме. Но теперь у меня не было дома. Даже мама стала чужой для меня. Даже мама...

Первый приступ жалости к себе прошел, и она продолжала говорить бесстрастным голосом, сидя сгорбившись на полу, обхватив колени руками; ее тело было таким же черным и угловатым, как и стул, к которому она прислонялась. Ее золотистые волосы были единственным светлым пятном в комнате.

— Земля начала дрожать, и все говорили, что это идут русские. Бункер трясся, и негде было укрыться. Все время я оставалась с детьми Геббельса, потому что теперь я страшилась взрослых, но мама забрала меня от них, и больше я никогда их не видела. Я понимала только, что они мертвы. Лишь много лет спустя я узнала, что это моя мама дала им яд. Конечно, по распоряжению фрау Геббельс. Их было шестеро. Шестеро детей...

Она открыла глаза, но не смотрела на меня. Овчарка следила за ней, встревоженная ее голосом, в котором слышалась боль.

— Я боялась и сторонилась взрослых, а теперь и дети исчезли. Я не знала, что мне делать. Однажды, увидев в коридоре дядюшку Гюнтера, который был в одиночестве, я подбежала к нему, но он прогнал меня. Мне некуда было идти. И тут я увидела Геббельса и его жену. Они появились в коридоре, прошли мимо дядюшки Гюнтера, у которого в руках была большая канистра. Я даже ощущала запах бензина. Когда в саду раздались выстрелы, я закричала, но дядюшка Гюнтер, не посмотрев на меня, направился в сад. Больше, я вообще ничего не понимала. Я перестала что-нибудь понимать.

Гюнтер Швагерман был адъютантом Геббельса. Он получил приказ облить покойников бензином и сжечь.

— В ту ночь моя мама увела меня. Мы шли в толпе других людей. Земля сотрясалась. Небо, от края и до края, было багровым. В нашей группе было четыре женщины; одна из них — повариха. Она все время рвалась вперед, а остальные удерживали ее. Фридрихштрассе находилась под сильным артиллерийским обстрелом русских. Мы добрались до моста Видендаммер, когда я потеряла сознание. Я помню только блеск воды и запах дыма...

Она поднялась с места так резко, что собака хрипло зарычала. Окна не были задернуты, и сумрачный свет с улицы осветил ее лицо, когда она выглянула наружу.

Я ждал, набравшись терпения, и, хотя ноги у меня начало сводить, не шевелился, из страха перед рычавшей собакой. Инга стояла неподвижно, словно статуя, вытянув голову вперед и глядя в окно на улицу.

— Тогда-то и началось разложение... в бункере. Когда застрелили дядюшку Германа, вся моя жизнь сразу перевернулась. Взрослые пугали меня своими странностями, и я побежала обратно к тем единственным, которых могла понять, — к детям. Но затем и их забрали от меня, и я знала, что они тоже мертвы. Больше деваться было некуда, мне казалось, что земля раскалывается у меня под ногами, и я знала, что русские идут. Но должно же было быть хоть что-нибудь, во что я могла бы поверить?! Не мама, потому что она была такая же, как и все взрослые, чужая и измученная, и я видела ее выходящей из комнаты, в которой жили мои ровесники, и поняла, что произошло. Только кто-нибудь очень могущественный и сильный мог помочь мне теперь, кто-нибудь, кто никогда не мог умереть, кто всегда был бы рядом, чтобы поддержать меня. Единственным божеством, о котором мне всегда твердили, был фюрер.

Она вдруг взглянула на меня сверху вниз; лицо ее оказалось в тени, и я не смог разглядеть выражения ее глаз.

— Это называется травмой, психозом, не так ли?

Мне показалось, что она ждет от меня ответа.

— Я предпочитаю более простое слово, которое вы произнесли.

— Какое именно?

— Разложение.

— Это одно и то же.

— Однако говорит о различном отношении к происшедшему. Оно означает, что вы твердо стоите на ногах...

— Я больше не хожу к психиатрам.

— Значит, вы единственный житель Берлина, который этого не делает.

— Я ходила, но...

— Бросили?

— Да.

— Теперь вместо этого вы ходите в Нейесштадтхалле? Убедиться самой, какие творились ужасы?

Своего рода лечение болезни электрическим шоком.

Мне следовало быть осторожным, чтобы не касаться вопроса, на который я хотел получить ответ до того, как уйду отсюда. Я хотел, чтобы она сама заговорила об этом, без моей помощи.

— Вы очень хорошо понимаете меня, — произнесла она.

— Это не так уж сложно.

Она подошла и остановилась рядом со мной. В черных брюках, с прямыми ногами, узкими бедрами,

изогнув напряженное, словно лук, тело, она была похожа на тореадора.

— Зачем вы пришли сюда? — спросила она.

— Кроме этого, у меня был только один вариант.

— Какой?

— Пойти в полицию.

Глаза ее сузились.

— В полицию?

— Я стал свидетелем покушения на убийство. Моим долгом было немедленно сообщить об этом.

— Почему же вы этого не сделали?

— По двум причинам. Вы могли заблуждаться. Несчастный случай, вызванный гололедицей, мог показаться вам попыткой к убийству. К тому же я англичанин, а в Англии мы со всеми неприятностями обращаемся к ближайшему полисмену, ибо знаем, кто он такой. В вашей стране вы этого не знаете. Я не должен был забывать об этом.

— Вы не верите нашей полиции?

— Вчера по обвинению в массовых убийствах арестован один из высших полицейских чиновников — начальник службы безопасности канцлера. — Я поднялся с места и взял в руки бокал. Он был пуст.

— Вы не объяснили, почему вы пришли сюда.

— Повторяю, по двум причинам. Я предложил зайти в бар. Вы пригласили к себе.

— Я хотела поговорить с вами.

— Вы хотели поговорить с кем-нибудь. С кем угодно.

— Да. Это было словно шок. И вы подумали, что у меня нет друзей?

— Я и сейчас продолжаю так думать. У тех, у кого есть друзья, не возникает желания разговаривать с первым встречным.

Озадаченная, она наполнила мой бокал. Внезапно все ее высокомерие исчезло. Я прибавил:

— Только глупцы не могут найти друзей.

— Вы сумели сделать так, что с вами легко разговаривать. Должно быть, это похоже на истерию. Вы, верно, приняли меня за психопатку, страдающую манией преследования?

— Ни в коей мере. Кто-то вторично совершил попытку убить вас, а вы даже не упомянули о первом случае.

— Об этом нечего рассказывать.

Но я все еще хотел получить ответ на свой вопрос. Она не уклонялась от этого. Просто ей не приходило в голову, что именно я хочу узнать.

— У них есть для этого причины, — вдруг сказала она.

— У них?

— Да. У нацистской группы.

— У нацистов есть причины уничтожить человека, полувлюбленного в Гитлера?!

— Вы обязательно должны были это так сформулировать?

— И которого преследует мертвое божество?

Плечи ее вяло опустились. От вызывающего вида не осталось и следа. Исповедь до предела истощила ее. Она произнесла ровным, ничего не выражающим голосом:

— Я присоединилась к их группе сразу же после окончания школы. Они называли себя "Феникс".

Они стали для меня приемными родителями, ведь моя мать так и не перебралась в ту ночь через мост Видендаммер. Ее убило осколком. Затем я стала взрослеть и два или три года назад вышла из группы. Это произошло не сразу — просто я начала реже ходить в тот дом, а затем и вовсе прекратила посещения. Они разыскали меня и пытались вернуть, потому что я слишком многое знала. Я знала, кто покинул бункер и куда отправился. Я знаю, где сейчас находится Борман. Вернуться я отказалась, но я поклялась на... поклялась, что никогда ничего и никому не расскажу. Возможно, они решили, что я проболталась или там появился какой-нибудь новый человек, и они начали вести какую-нибудь новую политику, во всяком случае, месяц назад произошел случай на остановке троллейбуса, и вот сегодня...

Я допил бокал и поднялся, собираясь уходить.

— Почему у людей возникает иногда непреодолимая потребность делать то, чего, они знают, делать не следует? — вдруг спросила она.

— В трудную минуту наговорите магнитофонную ленту, а затем сожгите ее. Или разговаривайте с Юргеном. Но никогда больше не открывайте с посторонними. Вы не знаете, куда они пойдут, покинув ваш дом. Если в какую-нибудь антинацистскую организацию, то "Феникс" инсценировать несчастных случаев больше не будет. Их люди окажутся здесь в течение часа, и вам не поможет Юрген, потому что он не бронированный и не заговорен от пуль.

Я направился к двери, и овчарка поднялась с места.

— Может быть, мне уехать из Берлина? — беспокойно спросила она.

— Это было бы самое благоразумное.

Она открыла мне дверь. Наши взгляды встретились, и я заметил в ее глазах борьбу, которую она пыталась вести ради спасения своей гордости. Она проиграла.

— Вы... Вы не из ЦРУ... или...

Я ответил отрицательно.

— Но мог бы быть. Не забывайте об этом. Не доверяйте незнакомым людям. Никогда нельзя знать, кем они являются на самом деле.

На улице было холодно, особенно после теплого помещения. Я прибавил шаг. Снег набился мне в ботинки, и изо рта шел пар. Я все время думал о девушке и верил, что вел себя правильно. Если у меня и были какие-либо сомнения, то они исчезли тотчас, когда где-то на Унтер-ден-Эйхен я понял, что за мной следят.

6. "КВОТА"

До угла Унтер-ден-Эйхен и Альбрехтштрассе я шел в том же темпе, но делая более длинные шаги, чтобы со стороны не было заметно, что я нагнал ходу. Первым укрытием по Альбрехтштрассе оказалась автоцистерна с пивом, и, зайдя за нее, я воспользовался выдвинутым далеко в сторону для заднего обзора зеркалом водителя, чтобы посмотреть, что делается сзади. Когда филер торопливо прошел мимо, я перешел на другую сторону улицы, купил и развернул вечерний выпуск "Ди лейте", чтобы изменить свой облик, и зашагал дальше. Некоторое время спустя он повернул обратно, и я видел, как он торопливо оглядел бар, аптеку и киоск, в котором я приобрел газету.

Явно встревоженный, он остановился на тротуаре, переминаясь с ноги на ногу, словно замерз. Он был растерян. Затем, сдавшись, он махнул на все рукой и направился в пивной бар. Я выждал минут пятнадцать, затем тоже вошел в бар, присел к его столику и сказал:

— Если я еще раз увижу вас, то устрою такой скандал в резидентуре, что вы закончите свою карьеру мойщиком окон.

Он выглядел моложе, чем был на самом деле. Он не раскрывал рта, пока мне не принесли кружку пива, так он опешил.

— Вы знаете, что случилось с КЛД? — наконец произнес он.

— Со мной этого не случится.

— Он был чертовски хорошим парнем.

По-немецки это звучало еще даже более экспансивно. Его злила смерть КЛД. Это был Хенгель, я узнал его по фотографии, помеченной буквой, означавшей "абсолютно надежен", находившейся в меморандуме, полученном мной от Поля. Поль еще сказал тогда: "Вы можете положиться на двух людей. Один — американец Фрэнк Брэнд, другой — молодой немец Ланц Хенгель".

До того как я узнал его, я было подумал, что он подослан противной стороной и что "Феникс" — если они по-прежнему называют себя так — поручил ему следить за теми, кто поддерживает связь с этой девушкой, Ингой Линдт. Это было вполне вероятно.

— Да, — сказал я, — он был чертовски хорошим парнем. И он пользовался прикрытием, но это его не спасло.

— Я прикрывал его, — произнес Хенгель, кипя от злости.

— Знаю, не мучайтесь. В тот день в Далласе было шестьдесят агентов, несших охрану непосредственно вблизи президента.

— Меня специально отобрали для этого. — Даллас его ничуть не интересовал.

— Стало быть, вы споткнулись. — Мне по горло хватало сантиментов фрейлейн Линдт.

— По чьему приказу вы охраняли меня? — спросил я.

— У меня не было приказа.

По крайней мере он был честен.

— Сколько времени вы работаете на этом поприще?

— Уже два года.

Он сидел, кусая губы. У него было хорошее бесхитрое лицо. Ему как раз не хватало самого необходимого для его профессии: лукавства. Я подивился: почему для прикрытия КЛД выбрали именно его.

— Вы можете найти себе другие игрушки, Хенгель, но не вертитесь у меня под ногами. Я же просил: никакого прикрытия. Охрана была снята вчера с полуночи.

Если бы он принялся спорить, я бы ошарашил его несколькими фактами. Где он повстречал меня?

Он, конечно, знал, в каком отеле я живу, но шел за мной не оттуда, иначе бы я давно заметил его. Он не

мог знать, что я пойду в Нейесштадтхалле, так как я решил пойти туда в последнюю минуту: до получения через сводку биржевых новостей по радио соответствующего подтверждения относительно Поля я не хотел прибегать к активным действиям; поэтому Нейесштадтхалле показался мне самым удобным местом, где можно было спокойно провести день. Он обнаружил меня не там, иначе я бы это заметил, а будь он у стены во время нового происшествия, он непременно заговорил бы об этом, тем более, что находился в отчаянии и во что бы то ни стало хотел прикрыть меня, спасти мне жизнь и тем самым загладить вину за смерть КЛД. Не мог он знать и о том, что я пошел на квартиру к Инге... Из этого следовало только одно — он встретил меня на Унтер-ден-Эйхен совершенно случайно, либо же кто-нибудь из сотрудников резидентуры увидел меня и сказал ему, и он принялся ходить за мной по собственной инициативе. Берлинская резидентура располагалась в двух комнатах на девятом этаже здания на углу Унтер-ден-Эйхен и Ронер-аллее, куда, помимо главного входа, можно было пройти через пассаж рядом с магазином шляп. Из окон помещения был отличный обзор обеих улиц, и наблюдатель, вооруженный к тому же цейсовским пятнадцатикратным биноклем, через который на расстоянии пятидесяти метров можно разглядеть каждый волосок на мухе, всегда мог увидеть, не ведется ли слежка за кем-либо из сотрудников,

приходящих в резидентуру. Будучи одним из трех агентов, оперирующих с этой базы, я не мог и шагу ступить по этим улицам без того, чтобы не быть замеченным. Я увидел, что за мной следят, на середине Унтер-ден-Эйхен.

Я не только быстро скрылся от Хенгеля, но и обнаружил-то он меня совершенно случайно. Скажи я ему, что знаю об этом, он бы прокусил себе губы до крови. А если бы он узнал, что на жизнь, которую он с таким рвением пытается охранять, уже покушались, о чем он даже не подозревает, он бы просто умер на месте.

Не сказав поэтому больше ни слова, я допил пиво и ушел.

Вернувшись в отель, я слегка перекусил и настроил приемник на "Евросаунд". Передавали биржевые новости. Я дождался интересующих меня сведений: "Квота Фрейт Трейдерс": 878 1/2 плюс 2 1/8", и выключил приемник.

Система связи "Почта — биржа" ограничена по времени, но зато застрахована от дураков. Ее разработал один из сотрудников нашего шифровального отдела. Она настолько безопасна, что позволяет доверять свои сообщения обычной почтовой связи, и в Федеративной Республике Германия действует так же безукоризненно, как и в любом другом уголке земного шара. Агент может не наклеивать марки на конверт, потому что найти марку не всегда бывает возможно (например, когда выходишь из театра). Куда более важно то, что конверт без марки, как правило, регистрируется, так как он должен быть вручен адресату в руки для получения соответствующей доплаты. Таким образом, даже если у агента имеется при себе важный документ и он подозревает, что за ним следят с целью овладеть этим документом, он может запросто отделаться от него у первого почтового ящика и тем самым обеспечить его сохранность. В "Евросаунде" у нас есть специальный человек, который получает наши донесения, пересылаемые подобным образом. Радиостанция "Евросаунд", существующая под покровительством НАТО и Индустриального союза Бенелюкса, транслирует легкую музыку, последние известия США, Великобритании и Франции, а также коммерческие программы.

Центр имеет возможности (о которых никто не подозревает) дважды в день вставлять в передачи биржевых новостей сведения о курсе несуществующих акций. В моем случае это было "Квота Фрейт Трейдере". (Во время цоссеновской операции "Квота" являлась позывным сигналом и варьировалась пятью разными способами: "Квота Фрейт Трейдере" полностью, "Квота Фрейт", "Квота Трейдере", просто "Квота" и "КФТ".) Каждый из этих вариантов таил в себе ключ к одной из пяти кодовых систем. Агент, как правило, прибегает к помощи кодовой книги, так как цифры в графе "Стоимости" и "Курса" (878 1/2 плюс 2 1/8, как было сегодня) имели тысячи значений. "8", стоящая отдельно, имела иной смысл, чем "8", стоящая впереди "7", и совсем другое значение, если появлялась перед "78". Дробь также могли изменить смысл сигнала, который дается основной суммой цифр. И так далее. Я не имею кодовой книги, потому что предпочитаю полагаться на свою память.

Программы "Евросаунда" финансируются крупными концернами и рассчитаны на слушателей, предпочитающих легкую музыку, а также на тех, кто слушает сообщения последних известий и развлекательные программы. Никто, конечно, не интересовался биржевыми новостями, и передачи их следовало бы прекратить после первых же социологических исследований интересов радиослушателей. Однако финансирующие радиостанцию предприятия настояли на том, чтобы биржевые новости транслировались дважды в день, ведь при этом упоминались их акции, что являлось для них лишней рекламой. Факт остается фактом: со времени введения в действие нашей системы связи "Почта — биржа" ни один из радиослушателей не обратился в "Евросаунд" и не поинтересовался, какого черта означает

"Квота Фрейт Трейдере" и где можно приобрести акции этой фирмы.

Система ответа по радио имеет два преимущества. Письменный ответ на сообщение агента занимал бы больше времени и мог быть перехвачен, даже будучи отправлен без марки. Доплатное письмо, доставленное мне в отель "Принц Иоганн", оплачивалось бы дежурным администратором и дожидалось бы на его конторке моего прихода в течение многих часов, а иногда и даже дней. Это было рискованно. Получать письма до востребования тоже ненадежно.

Второе преимущество системы "П. — Б." заключается в том, что, в каком бы краю света ни находился агент, он мог получить адресуемое ему сообщение в точно установленное время. Агент мог, если это было неизбежно, принять сообщение, даже находясь на людях — в баре или еще где, даже стоя бок о бок с представителем противной партии.

Однако система эта медленна, и ею нельзя пользоваться в срочных случаях, когда приходится идти на риск, который в любой стране заключается в том, что Центр может по многим причинам работать против интересов полицейской службы этой страны. В случае со мной телефонный звонок в берлинскую резиденцию был рискован и поэтому допускался лишь при исключительных обстоятельствах, так как я противостоял интересам определенных сотрудников Федеральной полицейской службы, скрытых экс- и неонацистов, заполнивших департамент, начиная с верхних чинов (как только что арестованный Эвальд Петерс) и до рядового полицейского. Увидев, что я отошел от телефона, любой сотрудник органов безопасности, предъявив свои документы, мог потребовать от служащего отеля, ресторана, бара или от телефонистки, чтобы ему сообщили, по какому номеру я звонил. Я уже не говорю о возможности подключения к линии.

Против этого у нас есть два спасения. Существует условный язык, согласно которому "Сегодня утром я ужинаю с Дэвисом" означает в действительности: "Я отправляюсь на задание", и так далее. Если нужно сообщить что-нибудь более сложное устно или по телефону, мы прибегаем к помощи диалекта Рабинд-Танат, на котором разговаривал Лахриста, наш сотрудник. Лахриста уже давно находился в Берлине и служил в нашей резидентуре, в свободное время работая над диссертацией, посвященной лингвистическим проблемам.

Для подтверждения личности и полномочий Поля я отправил его фотографию по почте и привел в действие всю систему. Как правило, агенту вручалась фотография человека, которому было приказано войти с ним в контакт, если прежде они никогда не встречались. Когда в Центре получали по почте чью-либо фотографию без сопроводительной записки, это означало только одно: "Кто это такой?" Ответ гласил — 878 плюс 2 1/8: "Назвался своим именем. Полностью доверьтесь ему. Связной из Лондона". Покинув Лондон более двух лет назад, я никогда прежде не слышал о нем. Я бы вовсе не встретился с ним, если бы смерть КЛД не создала чрезвычайной обстановки. Вилли Поль (так он именовался в меморандуме) прилетел из Лондона для связи со мной. Где он сейчас? Летит обратно? Счастливый, мерзавец!

Проснувшись, я тут же вспомнил узкие плечи Инги, позу, в которой она стояла передо мной.

Непрошеное воспоминание. Во сне я видел черную пантеру. Я пытался восстановить в памяти весь сон, но тщетно. Сны уходят в первые же секунды пробуждения, словно призраки на рассвете.

Я принялся размышлять о более практических делах. Перед сном я задался одной проблемой, и к утру она была разрешена. Решение: начать действовать сегодня же.

Я допустил слишком много предположений, и это ни к чему не привело. Так я предположил, что люди в автомобиле хотели убить меня, а не фрейлейн Линдт. Я предположил, что человек, который следил

за мной на Унтер-ден-Эйхен, был противником, и ошибся. Я мог ошибиться и в отношении автомобиля. Возможно, они имели намерение убить не меня. Может быть, они даже и не подозревают о моем существовании. Моя позиция будет ложной, если я буду исходить из того, что, пока я выходил на охоту за Цоссеном, он начал охоту за мной.

Итак, я все же должен вызвать огонь на себя. Если они уже напали на мой след, что ж, я ничего не потеряю от того, что начну действовать. Я должен оказаться там, где им нужно, и не терять надежды, что проживу достаточно долго для того, чтобы нанести удар.

Еще не было десяти часов, когда я появился в канцелярии прокурора Западного Берлина и принес досье на трех раскрытых мной военных преступников, а также документы, подтверждающие, что я работаю в контакте с комиссией "Зет", как это и было в действительности. В течение шести месяцев я действовал, соблюдая строгую конспирацию, теперь я высунул голову, чтобы "Феникс" мог меня увидеть. — Нам ничего не известно об этих людях, — жалобно произнес герр Эберт.

— Теперь вам известно все, господин прокурор.

Он высокопарно поклонился; голова его была похожа на большой булыжник, удерживающий равновесие на другом, еще большем голыше. Несколько месяцев назад я познакомился с его досье, так как

мне косвенно приходилось иметь дело с руководимым им учреждением. Правда, ему не было известно, что это через меня прокуратура получила улики, согласно которым он подписывал ордера на арест. Я ждал двадцать минут, пока он, грузно переваливаясь в кресле, читал принесенные мной документы. Улики против этих трех людей были собраны мной в течение последней недели, и я рассчитывал вручить их моему преемнику, чтобы помочь ему сделать хороший старт в работе. Теперь я сам воспользовался ими.

— Весьма доказательно, герр Квиллер.

— Да.

— По-видимому, ваши источники заслуживают доверия. Должно быть, вам пришлось много потрудиться.

Он взглянул на меня из-под рыжеватых бровей. Он пожелал узнать, как мне удалось докопаться до всего этого таким образом, что он даже не слышал обо мне.

Его лицо оставалось по-прежнему сосредоточенным.

— Необходимо немедленно арестовать их.

— Да.

— Может быть, вы сообщите мне адреса, где разыскать этих людей?

— Если вы дадите указания полиции "Зет", я отправлюсь вместе с ними.

— Но в этом нет необходимости.

— И все же...

— Вы желаете принять участие в задержании?

— Если вы предпочитаете это выражение.

— Хорошо, — он поднял трубку. Всегда бывает радостно на душе, когда делаешь то, что хочешь, хоть и не обязан этого делать. Я не должен был присутствовать при предстоящих арестах хотя бы потому, что это потворствовало бы садистскому удовольствию видеть этих людей в тот момент, когда Немезида кладет руку им на плечо. Однако я помню одного из них, Раушнига, инспектирующим строй девушек, направленных в Дахау для "специального лечения". Они стояли раздетые вдоль стены в коридоре, и он отобрал десять из них для медицинских экспериментов. Не знаю, что именно произошло с ними, но знаю — смерть их была нелегкой.

Я никогда не встречал двух других — Фогля и Шрадера, — но, по собранным мною данным, они превзошли доктора Раушнига в зверствах. Поэтому я позволил себе удовольствие посмотреть им в лицо в последний час их свободы. Да и для главной цели, которую я преследовал, решение принять участие в операции вместе с полицией "Зет" могло оказаться полезным. К тому времени, как по моей инициативе и в моем присутствии будет произведен третий арест, "Феникс" направится по моему следу. Цель оправдывает средства.

— Машина заедет за вами через пятнадцать минут, герр Квиллер. — Эберт расписался в получении документов. — Возможно, я буду иметь удовольствие еще раз встретиться с вами?

— Я вам это гарантирую, господин генеральный прокурор.

Салон красоты находился на Мариенфельдерплац; мы втроем вошли внутрь. Капитан полиции и сержант были вооружены, хотя и одеты в гражданское платье. Перегородка, перевитая вьющимися растениями, отделяла небольшие кабины от комнаты ожидания. Нас пригласили сесть, но мы продолжали стоять. В мраморном бассейне, выложенном в форме раковины, бил фонтан, и яркие тропические рыбки плавали в бассейне. Пурпурные газовые занавески драпировали стены, и свет лился с потолка из позолоченных окружностей, сделанных в виде солнца с лучами. Пахло дорогими духами. Стройная Венера стояла в мягко освещенной нише, опоясанная золотыми лентами диплома, полученного владельцем салона на Парижской выставке 1964 года.

Горничная, тяжеловесная девица с дикими, словно из джунглей, глазами, сказала:

— Герр доктор вынужден просить вас обождать его полчаса, так как он занят весьма тонкой операцией, — глаза расширились, — а клиентка — баронесса.

Подол ее пурпурной греческой туники распахнулся, когда она повернулась, чтобы направиться к двери.

Капитан полиции знал, что не следовало раньше времени козырять своим удостоверением. Здесь мог быть еще один или даже несколько выходов. Вместе с сержантом я последовал за ним через низкие золоченые врата.

Доктор Раушниг находился в первой кабине. Его лицо округлилось с тех пор, как я видел его в

последний раз, но сразу же узнал его и кивнул капитану.

— Джулиус Раушниг! — произнес капитан. Встревоженный нашим вторжением, он сказал, что его зовут доктор Либенфельс. Он никогда и не слышал о Раушниге. Капитан показал ему фотографию, сделанную в 1945 году в проверочном пункте американской армии на датском фронте, которую я обнаружил в архивах комиссии "Зет" среди прочих фотографий. Фамилии на них не были указаны, но мне этого и не требовалось.

Женщина в кресле выгнула шею, презрительно поблескивая на нас глазами сквозь какую-то мазь, которой было густо покрыто ее лицо. Я повернулся спиной, не желая более видеть Раушнига. Мне было даже противно слышать его. Чем больше он негодовал, тем больше дрожал его голос.

— Вы ошиблись, уверяю вас! — И так далее. — Это чревато опасностью для нежных лицевых мышц баронессы, если мне придется прервать процедуру! — И тому подобное.

Но я заметил жестикуляцию его рук, и разъедающее душу чувство мести вновь овладело мной. Лицо не бывает столь выразительно, как руки. А эти холеные белые руки, священнодействовавшие во имя тщеславия этой женщины, нежно, словно к цветку, прикасавшиеся к ее поблекшему лицу в попытке вернуть ему расцвет молодости, когда-то впивались в лица и тела девушек в Дахау, словно когти зверя, разрывающего мясо своей добычи.

Его руки жестикулировали в наддушенном воздухе. Голос пронзительно захлебывался в отрицаниях. Встревоженная женщина закричала, а горничная в тунике растерянно замерла в дверях.

— Прошу вас следовать за мной, — сказал капитан.

— Я должен позвонить моему адвокату.

— Позвоните от нас.

— Но у меня нет обуви, пригодной в снежную погоду! Мой шофер заедет за мной только вечером.

— Машина у подъезда.

— Вы не имеете права отрывать меня от работы! Эта дама...

— Герр Раушниг, если вы мирно пройдете с нами, никому не придется испытывать никаких неудобств.

Он начал громко рыдать, а я, чтобы не слышать его, сосредоточил внимание на лице горничной; на нем был написан ужас, свет лампы отражался в ее глазах. Я обернулся к лампе с маленьким розовым абажуром и вспомнил белый абажур на той лампе, которая находилась в частной квартире гауптштурмфюрера Раушнига в Дахау. По разработанной им технике белый абажур, и пара перчаток, и обложки для книг были сделаны из человеческой кожи умелыми руками его сожительницы.

— Вы не можете забрать меня!

Баронесса завизжала, когда он бросился мимо горничной к двери. Сержант подставил ему ногу; чтобы удержаться, он ухватился за розовую занавеску и, падая, сбил плечом и сломал тонкую перегородку.

Он катался по полу, закутанный в газовую ткань. Банка с жидкой мазью свалилась со столика, испачкав ему брюки. Он что-то лепетал. Я перешагнул через него и вышел в приемную, оттуда на улицу и оказался ослепленным неожиданными фотовспышками.

— Обождите, — сказал я. — Сейчас его выведут.

(Я заблаговременно позвонил в отделение Ассошиэйтед Пресс и сообщил кое-какие сведения).

Когда Раушнига вывели, я встал рядом с ним, и фотокорреспонденты принялись за свое дело. К вечеру мое изображение появится в газетах, и "Феникс" увидит его.

7. КРАСНАЯ ЧЕРТА.

Пуля, выпущенная из маленького восьмимиллиметрового пистолета марки "Пельман и Розенталь МК IV", делает около двух тысяч оборотов в секунду и при выстреле с очень близкого расстояния оставляет рваную рану и ярко выраженный ожог, пронзая тело, словно сверхострое сверло в сочетании с паяльной лампой.

У Шрадера был разворочен череп, и лишь одну половину лица можно было распознать. Полицейский капитан вынул для сравнения фотокарточку, взял у секретаря письменное подтверждение личности самоубийцы и затем позвонил в уголовную полицию, так как теперь Шрадер переходил в их ведение. Он уже никогда не предстанет перед судом.

Я попросил разрешения присутствовать при первичном осмотре бумаг, но ничего, что могло бы привести меня к Цоссену, не обнаружил. Незадолго до выстрела кто-то позвонил Шрадеру по телефону. Голос звонившего и его имя были незнакомы секретарю. Прошел всего час, как мы покончили с Раушнигом, но слух о его аресте распространился быстро, и Шрадер предпочел уйти от ответа за свои деяния. Во избежание подобных казусов полиция "Зет" предпочитала действовать по возможности без промедления.

Капитан нахмурился при виде двух пронирыливых фотокорреспондентов Ассошиэйтед Пресс перед

конторой фирмы грузового пароходства "Шрадер — Фабен", но я не сказал ему, что это я известил их по телефону.

Удостоверившись, что меня сфотографировали, я отправился к своей машине, серому "фольксвагену", который я взял напрокат повинувшись мгновенному решению, пришедшему мне в голову сегодня утром. Я не был волен в своих действиях, торча на заднем сиденье машины, принадлежавшей полиции, и это мне надоело. Да и вообще "фольксваген" мог быть мне полезен.

Черный полицейский "мерседес" проследовал за мной за пределы города. По обе стороны дороги расстился снежный ландшафт. Небо в полдень казалось черным по сравнению с заснеженными холмами. Автотрасса была предательски скользкой, особенно на участках, покрытых темным льдом там, где прошедшей ночью снегопад перешел в дождь. Движение было небольшое, и меньше чем за четверть часа мы добрались до контрольного пункта в Хельмштадте. Там во избежание потери времени я предъявил свои вторые документы.

Школа располагалась в ложбине в нескольких километрах от Дуисбаха. Снег на школьном дворе был истоптан детьми, соорудившими трехликую снежную бабу. Два лица ее были некурящими, а изо рта третьего торчала трубка.

Когда мы вышли из машин и направились ко входу, в морозном воздухе до нас донеслось пение.

Крыльцо было заставлено галошами и ботиками. Пение разносилось далеко окрест по белой от снега равнине, и казалось, что сейчас рождество.

Во избежание сцен, которые могли бы обеспокоить детей, мы договорились, что я один отыщу учителя Фогля и приведу его в кабинет директора школы, где капитан Штеттнер предъявит ему ордер на арест.

Первым попался мне на глаза мальчик, угрюмо стоявший в коридоре: по-видимому, его выгнали из класса за какую-нибудь провинность. Он явно обрадовался появлению незнакомца, не ведающего о его прегрешениях, и рассказал мне, что герр учитель Фогль находится в зале, откуда доносилось пение. Я тихонько вошел в зал и остановился у кафедры. Хор несколько расстроился, но вскоре на меня перестали обращать внимание, и пение продолжалось, как прежде. Я наблюдал за детьми и старым человеком на кафедре. Лицо у него было кроткое; время от времени он закрывал глаза и медленно вздымал руки, дирижируя певцами. Они пели теперь, почти не сбиваясь, внимательно следя за гипнотическими движениями рук.

Когда пение закончилось, я поаплодировал юным певцам, что вызвало полное и растерянное молчание. Я не умею вести себя с детьми, хотя всегда хочу быть добрым с ними. Обратившись к учителю, я тихо сказал, что являюсь представителем музыкального издательства и что директор просит его зайти к нему в кабинет на несколько минут.

Он ответил согласием. Голос у него был такой же тихий и кроткий, как и лицо. Только глаза обнаруживали слабость, приведшую его к этому часу: в его глазах был страх, даже когда он улыбался. Мы застали директора школы в обществе капитана и сержанта. Очевидно, директор уже был осведомлен: лицо его выражало растерянность. В кабинете было тихо. Мы слышали дыхание друг друга.

— Прошу вас проследовать за мной, герр учитель.

— Хорошо, — мягко отозвался он. Его кроткое лицо было обращено кверху, и он устремил взор в окно, на темные деревья, стоявшие посредине снежной равнины, словно группа ждущих чего-то скелетов.

— Хорошо, — тихо повторил он, отвечая капитану, прихода которого опасался и ожидал последние двадцать лет.

Его увели. Директор школы попросил меня задержаться.

— Невероятно, — сказал он.

— Мне очень жаль.

— Мы с ним одной крови... — Директор глядел на меня в упор, и его руки мяли одна другую, словно находку. — Почему он предал?

— Из страха.

— Его мучили?

— Нет, но он знал, что его будут мучить, если он откажется говорить. — Из сострадания к собеседнику я добавил: — Это может быть принято во внимание судом как смягчающее обстоятельство.

— Смягчающее обстоятельство? Но ведь тысячам людей грозили тюрьмой, однако они...

— Таких было сотни тысяч. Миллионы. Он не был из их числа. К сожалению.

Сперва его использовали квартальные надзиратели, затем целенлейтеры и крайслейтеры и, наконец, гаулейтеры, игравшие на его страхе и пользовавшиеся им как осведомителем. Улики, собранные в его деле, свидетельствовали о том, что он "явился причиной ареста и физической гибели своих друзей, соседей

и сотен других людей, сообщая гестапо о том, где они скрывались..." Самое короткое показание обвиняло его в том, что лично из-за него "не менее десяти автофургонов заключенных были сожжены в печах Освенцима".

Директор помолчал, затем произнес:

— Я рад, что его здесь больше нет. — Он протянул мне руку. — Извините. Хор недавно создан. Мне нужно пойти и заняться с ними... Но боже мой, я почти лишен слуха...

Я вышел в большую стеклянную дверь, прошел мимо рядов галош и ботишков. Следы колес черного "мерседеса" отпечатались на снегу. Я взглянул на темные искривленные стволы деревьев. Стояла гнетущая тишина, и, остановившись возле машины, я заставил себя ждать, сдерживая дыхание.

Затем оно снова возникло в воздухе, пение...

"Ди лейте" поместила большой снимок на первой полосе. Я стоял рядом с Раушником перед входом в его салон красоты. Три другие газеты напечатали эту же фотографию. В двух из них был также снимок, на котором капитан полиции и я выходили из конторы фирмы "Шрадер — Фабен".

В школе фотокорреспонденты не появлялись, потому что я не хотел тревожить детей; но все же я поставил в известность о Фогле Ассошиэйтед Пресс, и газета "Ди лейте" опубликовала фотографию учителя и посвятила ему целый абзац, связывая его с Раушником и Шрабером и комментируя "молниеносную волну арестов", явившуюся главным событием дня. Таким образом, я, само собой разумеется, в глазах всех являлся причастным и к аресту Фогля, что, конечно, не пройдет мимо внимания "Феникса".

Мне дали получасовое свидание с Фоглем в его камере, но мне не повезло. Его страх, который, как я надеялся, поведет к добровольному признанию, покинул его после двадцати лет. Худшее пришло к нему, и, понимая, что его жизнь закончится в такой же камере, он освободился от рабства страха. Я сомневался в том, что даже его полнейшее раскаяние может привести к оправданию, но все же воспользовался этой мыслью, чтобы повлиять на него. Он не поддался. Он казался живым мертвецом.

При отеле "Принц Иоганн" были запирающиеся гаражи, и, поставив туда свой "фольксваген", я отправился к запоздалому ужину. Кое-кто искоса поглядывал на меня, видимо, уже познакомившись с газетами, а пожилой официант, ведающий винами, был довольно мрачен, и рука у него дрожала, когда он наливал мне вино. Интересно, подумал я, где он был и что делал в период между 1939 и 1945 годами? Когда мне подали кофе, ресторан был уже почти пуст. Какой-то человек подсел к моему столику и швырнул на него вечерний выпуск "Ди лейте". Я взглянул на собственное изображение в газете, затем перевел взор на незваного гостя.

— Кажется, мы идем довольно близко к ветру, сэр, — улыбнувшись, произнес он с американским акцентом.

Я не желал разговаривать, не желал даже знать его, но иногда бывает опасно ничего не отвечать.

— Чем ближе, тем лучше, — отозвался я. По-видимому, это Брэнд. Умное лицо с пронизательными, спокойными серыми глазами, короткая стрижка. Улыбка была приятна, но я негодовал на него за то, что он заговорил со мной. Если агент решил показать свою физиономию на первых полосах газет, для этого должен быть серьезный повод и это является его личным делом. Он может работать по собственному усмотрению, соблюдая одно условие — не подвергать других опасности рассекречивания. Если уж я решил привлечь на себя огонь неприятеля, то только я один и должен подвергаться риску. Таков порядок. Теперь, когда мое лицо разрекламировано во всех газетах, я на пушечный выстрел не мог приблизиться к Унтер-ден-Эйхен и Ронер-аллее, даже если был совершенно убежден, что за мной не следует филер. Умышленно подставляя себя под огонь противника, я полностью отрезал себя от местной резидентуры, оставив себе единственный канал связи — "Почта — биржа". С этого утра я превратился в "горячего агента", к которому никто не должен был приближаться. Это классический прием, и КЛД дважды прибегал к нему в течение своей службы, сознательно нарушив обычную конспирацию, чтобы в открытую встретиться с врагом, потому что считал этот путь наиболее целесообразным для решения определенных задач. Здесь агента поджидает много опасностей. Но еще более опасно для него, если с ним поддерживают

связь: в таком случае подвергают себя опасности и те, кто вступает с ним в контакт. "Горячий агент" должен работать без прикрытия, без связи с резидентурой. Даже пользоваться радио чревато опасностью.

— Давно вы здесь? — грубо спросил я.

— О, фактически я здесь живу.

Мы оба знали: в месте, подобном этому, следует соблюдать в разговоре особую осторожность, чтобы возможная запись на магнитофонную ленту ничего не могла бы раскрыть. В зале ресторана были колонны и портьеры, и мимо шмыгали официанты. Даже в столе мог быть вмонтирован микрофон.

Он предложил мне сигару, но я покачал головой.

— Я не курю этот сорт.

— Я хотел рекомендовать вам попробовать. — Он убрал портсигар. — Что ж, оставлю вас в покое.

Всегда к вашим услугам, конечно, — усмехнулся он, кивая на фотоснимок в газете.

Я поглядел ему вслед, выждал минут десять, попивая кофе, затем отправился в свой номер, переобулся в сухие ботинки, в уме перечисляя все "за" и "против" того, что я собирался проделать. Затем за несколько минут до срока поймал легкую музыку, транслировавшуюся "Евросаундом".

На бланке отеля я написал: "Повторяю: никакого прикрытия. Хенгель вошел в контакт со мной. Мне это не нравится. Брэнд вошел в контакт со мной и остается здесь. Это мне тоже не нравится. Повторяю: действую в одиночку".

Музыка прекратилась.

Я прервал донесение.

"Португез каннинп": 388. Минус 1.

"Цай-Сульфа": 459. Плюс 7.

"Квота Фрейт": 793 5/8. Плюс 10 5/8.

"Ронэлектрик": 625.

Я выключил приемник. Сказано было следующее:

"Соблюдайте все предосторожности. Вы за красной чертой".

Я закончил рапорт: "Если моя линия поведения не вызывает одобрения, вам стоит лишь сказать об этом и отозвать меня. К."

Они злили меня, и это никуда не годилось, ибо посторонние эмоции во время операции мешают здраво размышлять. Я лишь упомянул Хенгеля, сказав, что он вошел в контакт со мной, и скрыл, что отделался от него в течение нескольких минут. Я не хотел, чтобы его наказали, а желал только, чтобы он убрался с моего пути. Но все это злило меня. А тут еще Брэнд связался со мной, хотя чертовски хорошо знал, что я "горячий". Даже если в резидентуре не предупредили его, он должен был понять это сам, как только увидел газеты. Теперь и резидентура разозлила меня. "Соблюдайте все предосторожности".

Иными

словами, не рискуйте рассекречиванием, не прибегайте к рискованным методам (к которым я уже прибег).

"Вы за красной чертой" — означало, что я подставляю себя под неприятельский огонь.

Пусть делают что хотят, пусть попробуют вытащить меня из игры. Это им не удастся. Я отправился на поиски Цоссена. Они сами дали кость собаке.

Проехав на своем "фольксвагене" до Вильмерсдорфа, я там опустил в почтовый ящик свое сообщение. Затем запер машину и остаток пути до дома Инги прошел пешком, злясь в конце концов на самого себя, так как я шел к ней вопреки всем здравым доводам, которые перечислял в уме.

8. ИНГА

Не прошло и суток, как они пошли по моему следу.

За это время были кое-какие признаки того, что они окружают меня, и я был этим доволен и готов к встрече.

Я вернулся от Инги за полночь. Она была на грани, но старалась не показывать этого. Пса она отправила на место. Инга сказал ему: "свой", и Юрген удалился, даже не взглянув на меня. Мы сидели вдвоем, потягивая вино и слушая разные пластинки, которые она оставила для меня, мрачные мелодии, которые шли ей — задумчивой и циничной. Она была одета в плотно обтягивающий костюм, с замком-молнией от шеи до поясицы. Обнаженное тело было бы менее выразительно.

Легенда осталась прежней: я представитель Красного Креста, разыскивающий родственников беженцев, умерших в Англии. Она дважды заговаривала о "Фениксе", а во время одного из своих горьких воспоминаний упомянула о Ротштейне. Я немедленно взял это на заметку; я не знал, что Солли в Берлине. Обязательно надо повидать его.

Улицы, покрытые талым снегом, были пустыни. На небе появился серп луны, косящий темные облака. Разноцветные неоновые рекламы бежали над отсыревшими зданиями, и Крейцберг плыл в небе, словно зеленый остров.

"Фольксваген" находился там, где я его оставил, — на Гогенцоллернплац. Я проверил на ощупь ручки дверцы и замочную скважину — нет ли зазубрин на металле? Спичка, которую я засунул в петлю передней дверцы у сиденья водителя, была на месте. К машине никто не прикасался.

Я поехал на юг через Штеглиц и, заметив следовавшую за мной машину, повернул направо. Машина не отставала...

Значит, хотя мой "фольксваген" не тронули, за ним вели наблюдение.

Это был "ДКВ-Ф-12 Фиртюрер" цвета пушечного металла с голубым отливом; четыре кольца Автосоюза были отчетливо видны на красных предкрыльях. В машине сидел один человек.

Итак, вот оно, первое свидетельство того, что они начали наступление на меня. Наступление, не более того. Убивать меня они не собирались, иначе я был бы мертв к этому времени. Я придерживался мысли, что они достаточно умны, чтобы не прикончить меня за то, что я причастен к судьбе Раушнига, Шрадера и Фогля. Несколько сот военных преступников были осуждены федеральными судами с тех пор, как Лондонское соглашение вошло в силу, и никто из сотрудников комиссии "Зет" не был убит. Если бы они начали террор, это могло повести к малой войне, а, как мне кажется, "Феникс" пока что предпочитал держаться в тени. Люди, подобные Шрадеру и десятку других, которые решились наложить на себя руки, сделали это под давлением своих единомышленников или просто устав от вечного ожидания стука в дверь.

Кеннет Линдсей Джоунс и четверо других наших людей были убиты потому, что мертвецы не могут сообщить ничего ценного своему руководству. Они боялись, что КЛД кое-что узнает, а он был достаточно ловок и увертывался от них, и они решили остановить его.

Со мной все было иначе. Они не знали, что меня интересует Цоссен. Им было известно только, что незнакомое лицо неожиданно появилось на первой странице газет рядом с Раушником, и что то же самое лицо имело какое-то отношение к смерти Шрадера и аресту Фогля. Сотрудники полиции "Зет" были им хорошо известны. Пока что они не знали, кто я такой, и хотели познакомиться поближе.

Мы ехали направо, налево, опять направо, пересекли Инсбрюкерплац. Попытка отделаться от преследования не имела смысла: они знали, где я живу, но после посещения Инги я чувствовал себя словно школьник, не ведающий, куда ему девать силы, и решил погонять их. Это надо было делать сразу же, так как мы уже подбирались к пределу скорости и в любой момент нашу гонку мог прервать полицейский патруль, а такого рода гласности я хотел избежать. Одно дело — оказаться в объективе фотокорреспондента, другое — покориться законам и предъявить полиции свои документы. Правда, они были так хорошо сфабрикованы, что даже инфракрасные лучи не смогли бы обнаружить подделку, но я не хотел попадать на страницы полицейского протокола, чтобы не вмешивать Красный Крест.

Брызги грязи летели на ветровое стекло, и "дворники" едва успевали сбрасывать их. Я поехал прямо через Штеглиц и Штенде, желая узнать, сделает ли мой преследователь попытку приблизиться и перехватить меня. Нет, он просто хотел узнать, куда я направляюсь. Надо было придумать что-нибудь. В зеркале я видел огни подфарников — пару бледных светлячков, плывущих вдоль перспективы улицы. Переехав Атиллаштрассе, я нырнул в Рингштрассе, направляясь на юго-восток, затем затормозил, чтобы он подъехал ближе. Он тоже замедлил ход, а я нажал на акселератор, увеличил расстояние между нами и круто свернул налево, на Мариендорфдамм, направляясь на северо-восток, к Темпльхофу. Затем начал сворачивать с одной улицы на другую, что вынудило его напрячь внимание. Скорости были высокие, и у меня было преимущество перед преследователем — я мог ехать, куда хотел, а он должен был угадывать мои повороты до того, как я совершал их, и так как я и сам не знал, что буду делать в следующую секунду, то ему приходилось туго.

Один раз он потерял мою машину и лишь случайно увидел ее в конце квартала. Он начал тревожиться, твердо решив, что я еду в какое-то место, которое хочу держать в секрете.

Перед перекрестком Альт-Темпльхоф и Темпльхоф-дамм машина была совсем близко от меня, и тут он попался. Я круто свернул и не услышал скрипа тормозов его машины; наступило несколько долгих секунд сравнительной тишины, затем раздался звук удара, словно взрыв. Услышав его, я тут же развернулся назад, заехав на тротуар. Стремительный "ДКВ" сбил тумбу и рикошетом отлетел через улицу, с грохотом ударившись о стоявший у обочины "оппель". Не прошло и секунды, как машина загорелась. Я остановил "фольксваген" у обочины, выключил свет и остался сидеть на месте. Кто-то кричал.

Дверцы горячей машины заклинило. Я подумал, что успел бы пробежать эти тридцать метров, открыть дверцу и вытащить человека до того, как его охватит пламя, но даже не попытался этого сделать.

Горела машина, человек истошно вопил, а я сидел и наблюдал за этим.

Это было первым доказательством того, что мы открыли боевые действия. Следующее утро принесло второе доказательство.

Утро было бледно-серым. Туман, покрывавший поле аэродрома, окутал набухшую влагой землю. В течение последних двух часов самолеты не прилетали и не вылетали; я проснулся в половине шестого, и со стороны Темпльхофа не доносилось никакого шума. Маяк по-прежнему мигал, отблеск его лучей на потолке моей комнаты с рассветом становился все бледнее и бледнее.

Я подумал об Инге и тут же постарался избавиться от этих мыслей. Живые не должны тревожить нас, для этого достаточно было мертвых.

Я хотел повидать Ротштейна, о котором упомянула Инга.

Воздух в комнате был холодным, словно металл прикасался к лицу. Я подошел, чтобы закрыть окно, и тут же увидел двойной блик света в окне дома напротив. Улица была пустынна, исключение — редко

проезжавшие такси, и я вспомнил, что сегодня должен быть особенно осторожен: они промахнулись у стены и, возможно, ради спасения престижа ждут случая исправить свой промах. (Кто должен был оказаться жертвой в тот раз: я или Инга? Я все еще не знал этого. Теперь иное: "Феникс", вполне вероятно, был схож с любой другой большой организацией, где правая рука не всегда знает, что делает левая. Приказ, по-видимому, заключался в том, чтобы не трогать меня, иначе я уже был бы мертв; но какой-нибудь тугоухий функционер, возможно, вышел на охоту на свой страх и риск или просто желая отомстить за человека, сгоревшего в машине.)

Такси свернуло за угол, и на улице вновь наступила тишина; только хлопнуло окно, закрытое мной.

Двойной блик снова мелькнул в окне напротив. Как бы далеко от окна ни стоял в комнате человек, отблеск линз полевого бинокля заметен даже через улицу. Возможно, что это отражалась светлая крыша такси. Всегда можно что-нибудь предпринять, когда вас преследуют, можно отделаться от филера, как только его заметишь, но ничего нельзя поделаться, когда за тобой подсматривают. Задернутые шторы не помогут вам, когда вы спускаетесь по лестнице и выходите на улицу.

Я оделся, слушая радио. Утренние биржевые новости дали только позывной сигнал "КФТ" и какую-то мешанину из цифр. По-видимому, наш человек только что получил мое письмо, и в резидентуре еще не решили, что мне ответить.

Чтобы найти адрес доктора Соломона Ротштейна по дополнительному тому к новому телефонному справочнику, я потратил двадцать минут. Вовсе не обязательно встретиться с ним немедленно, так как я рассчитывал пробыть в Берлине еще месяц, но впоследствии, когда они окружают меня со всех сторон, это будет значительно сложнее. К тому же я не хотел причинять ему неприятностей после всего того, что мы с ним пережили.

Я вышел на улицу.

Возможно, что это был подсознательный страх, но он охватил меня, когда я спускался по главной лестнице. Из отеля был еще выход через кухню и по пожарной лестнице. Но ни тем, ни другим пользоваться не следовало, разве только в случае крайней необходимости.

Снег перед отелем был сметен, и ступеньки посыпаны песком. Под башмаками скрипело. Я был полностью виден из противоположного окна, и помимо воли дыхание у меня стало короче, словно при переходе вброд через холодный ручей, когда у тебя перехватывает дыхание, но ты идешь вперед, погружаясь все глубже и глубже, зная, что это ощущение пройдет. Ты знаешь, что это всего-навсего холод. Но сейчас это был полевой бинокль.

Что ж, положимся на счастье. Но вспомни, что произошло с Кеннетом Линдсеем Джоунсом. Пять ступенек, шесть, семь... Уфф!.. Теперь он опоздал что-либо предпринять, даже если бы и захотел, потому что я повернул под прямым углом и пошел вдоль тротуара, а он мог выстрелить в меня, только когда я находился на лестнице. На улице стояла тишина — такая, что у меня заболело в ушах: я все еще подсознательно ждал звука выстрела.

Я злился на самого себя. Риск существовал всегда: но я думал не о нем, и мне это не нравилось.

Шесть тяжелых месяцев, проведенных мной в ФРГ, расшатали мне нервы.

Я был в поту, когда свернул к гаражу, и подумал: "Стареешь, бедняга..."

Фольксваген бежал по оживленным улицам. Лаборатория Ротштейна находилась в районе Целлендорфа, на верхнем этаже здания на Потсдаммерштрассе. В первое мгновение он не узнал меня. Затем глаза его потеплели:

— Квилл... — Он взял меня за обе руки.

— Здравствуй, Солли.

Мы познакомились в Освенциме и с тех пор виделись всего лишь однажды, совершенно случайно, не имея даже времени на то, чтобы поговорить по душам. Это была наша вторая встреча после войны, и я никогда не забуду ее...

9. УБИЙСТВО

— Да, много воды утекло... — произнес Солли по-английски.

Он имел в виду не наше последнее свидание в Мюнхене три года назад, а Освенцим.

В тот день, когда я впервые встретился с ним, мы устроили побег семнадцати заключенных; четверо из них напоролось на провода высокого напряжения. Остальные живы и по сей день, насколько мне известно. Солли — один из них. Он присоединился к нам, когда я уже наладил связь с тремя узниками лагеря — подпольщиками. До этого я работал в одиночку, и на моем счету было что-то около девяноста семи душ, которым я помог бежать. После создания подпольной организации нам удалось устроить побег из лагеря больше чем двумстам заключенным.

В то время я изображал тупого лагерного охранника, чистейшего арийца, бывшего моряка, дядя которого находился среди иерархии гиммлеровских карателей. Я проклинал Черчилля с таким искусством,

что меня даже заставили повторить это с эстрады в качестве вставного номера в постановке, показанной накануне того дня, когда должна была произойти церемония открытия газовых камер, которые, как нас известили, имели пропускную способность примерно две тысячи человек в сутки. В эту ночь мы помогли бежать еще семерым... Комендант лагеря напился по случаю торжества, так же как и большинство его подручных. Только не мы. Семеро из двух тысяч — это казалось так мало...

После того как с войной было покончено, Солли и я специально вернулись в Освенцим, чтобы показать союзным войскам, где мы выложили цементом дыру в стене карцерного блока, чтобы спрятать там списки, составлявшие нами в течение нескольких месяцев. Наши сведения помогли разоблачить и повесить девять офицеров СС и четырнадцать охранников; мы продолжали собирать данные, казавшиеся нам такими важными, но вскоре поняли, что это пустое занятие. Эти царапины на лице Сатаны просто-напросто помогали нам поддерживать в себе бодрость духа.

Солли мало изменился за двадцать лет. Внешне он переменялся, но по существу остался тем же самым Солли. Его можно было назвать самым добрым человеком на свете, таким он и был в действительности, если только не доводить его до ярости. Ярость его была холодна, как невзорвавшаяся бомба.

Я и теперь ощущал дремлющую в нем злость и понял, что он никогда не успокоится.

— Я только вчера вечером узнал, что ты в Берлине, — сказал я.

— И тут же приехал повидать меня? Как это мило с твоей стороны!

Можно пройти с человеком через все круги ада и все же не знать, о чем заговорить с ним при встрече, разве что: "А помнишь старину такого-то?". Но было мало людей, которых мы хотели бы вспомнить.

— Что ты делаешь в Берлине? — спросил он. Мы сидели в его кабинетике одни, но видели головы двух его ассистентов, работавших в лаборатории. Нас отделяла стеклянная перегородка.

— Все те же бациллы, Солли?

— О да! — Он улыбнулся.

Когда нам довелось встретиться в Мюнхене, он уже был членом Международного объединения бактериологов, которые собрались там для обсуждения каких-то проблем, связанных с бактериологической

войной. Хотя эта область была далека от меня, я знал, что он был в ней признанным авторитетом.

— Кельнский университет субсидирует мою лабораторию, — сказал Солли.

— Поздравляю.

Повсюду стояли контрольные склянки с плесенью и различными культурами. Солли рассказывал о своей работе, часто перебивая себя и глядя на меня с дьявольским восторгом. Время от времени он склонял голову набок, поглядывал сквозь стеклянную перегородку и затем оборачивался ко мне с таким видом, словно хотел поведать какую-то важную тайну. Но глаза его тут же потухали, и я видел, что он сдерживает свое желание открыться мне. В эти моменты он казался мне таким, каким я запомнил его, когда прибывших в лагерь мужчин и женщин, спускавшихся по сходням из фургонов, отделяли друг от друга.

Когда от него оттащили его молодую жену, взор у него был такой же вялый, словно он вот-вот умрет.

Рассказав мне о своей работе, он умолк; больше говорить нам было не о чем, и мы знали это.

— Где ты остановился? — спросил он. — Мы обязательно должны встретиться еще раз.

Я ответил.

— "Принц Иоганн"! — воскликнул он. — Но ведь это очень дорого!

— Я никогда не останавливаюсь в дешевых отелях в Германии. — Не знаю, почему я это сказал, просто мгновенно пришедшая в голову мысль... Женщин в Равенсбрюке всегда остригали перед тем, как отправить в газовую камеру, а волосы пропаривали и упаковывали в тюки для отправки на фабрики, производящие матрацы. В дорогих отелях нынешней Германии матрацы были из поролоната.

— Значит, еще встретимся? — повторил он, увидев, что я собираюсь уходить.

Я сказал — да, обязательно, но мы не назначили точной даты.

Выйдя на улицу, я подумал, что лучше бы мне вовсе не встречаться с Ротштейном. Интересно, сожалел ли он о том, что я разыскал его? Я оставил его расстроенным: его жгло что-то очень существенное, о чем он хотел поведать мне, но не мог. Мною владело чувство, что я не хочу этого знать. Он позвонил мне в конце дня. Никогда не забуду я своего легкомыслия.

Он сказал по-английски: "Это я".

Почему-то я подумал о Поле в этот момент. Затем он сказал:

— Много воды утекло, не так ли?

Солли не называл себя, но хотел дать мне понять, что это он.

— Я приду повидать тебя. Жди меня, — сказал он и повесил трубку.

Итак, он не мог удержать это в себе. Беспокойство было сильнее его. А может быть, он не желал разговаривать в лаборатории: стеклянная перегородка была слишком звукопроницаема? Нет, он решил поговорить со мной уже после того, как я ушел, иначе бы сговорился пообедать или поужинать где-нибудь вместе. Он не доверял телефону: никаких имен. Не доверял тонкой стеклянной перегородке.

Значит, дело не только в его бациллах, или причиной была бактериологическая война? Я все еще думал о Поле и о ложе в "Новом театре комедии". Это тревожило меня. Тут есть какая-то связь. Но какая?! Поль не позвонил бы мне сюда; я был "горячим", со мной нельзя связываться, нельзя мне звонить. Его голос был не похож на голос Солли, и он разговаривал со мной только по-немецки. Нет, это не то. Но должна же быть какая-то связь! Я восстановил в памяти весь разговор между мной и Полем, прежде чем нашел эту связь. Поль сказал:

"Нам стало известно, что вы зарезервировали эту ложу". "Значит, вы обратились в театральную кассу". "Да".

"Не проходит. Я воспользовался чужой фамилией". "Мы это знали".

"Подключились к моему телефону..." Я ушиб руку, потянувшись за телефонной трубкой, и подхватил ее, когда она начала падать на пол. Я помнил номер телефона лаборатории. Девушка на коммутаторе попросила меня обождать.

Я ждал. Веко у меня начало нервно подергиваться. Какое легкомыслие!.. В трубке что-то щелкнуло, когда мне позвонил Солли. Я не ждал звонка ни от кого — ни от Поля, ни от Хенгеля, Эберта, Инги или Брэнда, ни от кого. Ни при какой ситуации Поль, Хенгель или Брэнд не позвонили бы мне сюда. У Эберта не было моего номера, так же как у Инги. Солли не должен звонить мне, так как мы даже не уговаривались о встрече. Кто же? Задумавшись об этом, я подсознательно вспомнил пощелкивание в трубке, и, сам не знаю почему, это вызвало цепную реакцию воспоминаний, мысль о Поле и ложе в театре. Мой телефон снова прослушивался. На этот раз не резидентурой. На этот раз противной стороной. Тем же неприятелем, что следовал за мной на машине. Двойной блик в окне... Третье свидетельство того, что они перешли в наступление.

— Вам отвечают.

— Благодарю вас.

Веко продолжало дергаться.

Неважно, пусть подслушивают теперь, в эту минуту, ибо я хотел сказать Солли только два слова: не приходи!

Возможно, что я ошибался, но я не мог рисковать. Солли не верил ни телефону, ни перегородке в собственной лаборатории; следовательно, он все время находился за своего рода красной чертой и должен

был следить за каждым своим шагом; возможно, они даже знали его голос. Возможно, что он вел с ними двойную игру ради того, чтобы узнать факты, которые могли бы привести его к взрыву ярости, которую он должен был излить до своей смерти в память о молодой жене.

— Лаборатория доктора Ротштейна.

— Я бы хотел поговорить с доктором, — сказал я.

— Он только что ушел. Что ему передать?

— Ничего.

Я повесил трубку.

Солли Ротштейн сгорал от желания что-то рассказать мне, что-то очень важное, о чем никто другой не должен был знать. Если он был им известен, если им был известен его голос, то, подслушивая разговор, они попытаются остановить его. И я ничего не мог поделать.

Район Целлендорфа находился в десяти километрах от восточной части Темпльхофа; Солли не мог пройти пешком все это расстояние. Не возьмет он и такси от двери до двери; он уже проявлял осторожность и, конечно, попытается замести следы. Я не мог перехватить его по дороге. Я мог только ждать его здесь.

Время: 5.09. Десять километров на такси в начинающиеся часы "пик" — двадцать минут. Прибавим пять минут, так как сперва он пойдет пешком; даже если он решит сесть в такси, то возьмет его подальше от лаборатории и доедет, конечно, не до самых дверей отеля, а вылезет где-нибудь за углом. Еще пять минут. Не исключено, что он поедет троллейбусом или надземной железной дорогой, но вряд ли — он человек нетерпеливый. Он может появиться здесь от 5.29 до 5.39.

Я не позвонил в лабораторию еще раз, чтобы спросить, пользуется ли герр доктор такси или имеет собственную машину, так как они снова подслушали бы мой разговор, и, если до сих пор у них не было определенного плана в отношении Солли, я не хотел явиться причиной того, что такой план у них возникнет. Если я ошибаюсь, то ничего не произойдет. Если я прав, то они сделают все возможное, чтобы

перехватить его на пути сюда. 5.14. Делать нечего. Только ждать. Я вышел из номера и прошел по коридору в поисках незапертой двери. Комната была пуста. На окнах — тюлевые занавески, достаточно непроницаемые при свете угасающего зимнего дня. Осторожно отодвинув занавеску, на дюйм от стены, я принялся рассматривать квартиру, находящуюся на той стороне улицы. Окно на четвертом этаже, седьмое слева, было растворено. Темный прямоугольник. Я опустил занавеску и вернулся к себе.

В 5.23 спустился вниз и начал прогуливаться по вестибюлю таким образом, чтобы девушка на коммутаторе видела меня и знала, что меня нет в номере, на тот случай, если Солли решит позвонить, что может случиться, если он заметит за собой слежку.

В 5.27 я вышел из отеля, перешел через улицу и укрылся в подъезде жилого дома, с тем, чтобы держать под обзором оба конца улицы. Ведь Солли мог появиться с любой стороны.

Колеса автомобилей шуршали по мокрому асфальту. Двое мужчин сошли по ступеням лестницы "Принца Иоганна" и, идя рядышком, повернули на запад. Время — 5.34. Оставалось только ждать и ждать. Зябко. Внутри у меня все дрожало от холода... Легкомыслие, проклятая небрежность... Старею... Машина подкатила к обочине тротуара, и я должен был переменить свою позицию, чтобы не потерять из поля зрения восточную часть улицы. Прохожие: женщина с собакой слева, направляется на восток; две девушки, слышу их голоса, одна смеется; двое мужчин (не тех ли самых?) слева, идут на восток (возвращаются?); машина отъехала, запахло гарью из выхлопной трубы. Переменил позицию. Прошли три девушки в черных пальто; пожилой мужчина побрел на запад; быстро шагает невысокий человек в темной шляпе. Гляжу налево, направо. Вот, кажется, и он.

Я вышел из подъезда и пошел сперва медленно, стараясь не потерять его из виду, и когда расстояние между нами сократилось до пятидесяти или шестидесяти метров и я увидел, что это он, то ускорил шаги и прошмыгнул между машинами на другую сторону улицы. Мы находились метрах в тридцати друг от друга, все время сближаясь; единственное, что находилось у меня в карманах, были ключи от машины, но и они могли пригодиться. Двадцать метров. Уже можно его окликнуть. Стоп. Оглянулся. Четвертый этаж, седьмое окно слева. И я побежал, крича ему, чтобы он свернул в сторону. Он увидел меня, удивленный. Я швырнул ключи ему в лицо, и они просвистели в воздухе, но не задели его. Он вдруг зашатался и рухнул вперед в тот самый момент, когда сухой треск выстрела эхом отозвался от каменных стен.

Я подхватил его, когда он падал.

— Солли, я виноват...

Он не слышал меня.

10. УКОЛ

Десять минут спустя я позвонил в полицию "Зет".

— Пришлите людей в дом сто девяносто три по Потсдаммерштрассе, верхний этаж, лаборатория. Вооруженных людей.

Я узнал голос капитана:

— Мы только что послали туда опергруппу. Нам сообщили о налете. Взяты кое-какие бумаги.

— Попытайтесь найти их. Запишите еще один адрес. Здание Мариенгартен, середина Шонерлиндерштрассе, Темпльхоф, помещение привратника. — Он повторил адрес. — Налет совершен на лабораторию доктора Соломона Ротштейна. Он только что застрелен на улице перед этим зданием, и я внес

его сюда. Выстрел произведен из здания Шонерпаласта, четвертый этаж, седьмое окно с восточной стороны. Винтовка с телескопическим прицелом. "Скорая помощь" к доктору Ротштейну вызвана. Жду вас здесь.

Я велел привратнику оставаться возле убитого, а сам протиснулся сквозь толпу к подъезду и побежал к Шонер-паласту. Поднимаясь в лифте, я сказал лифтеру:

— Уголовная полиция будет здесь через несколько минут; никто не должен заходить в комнату до ее появления.

Он спросил меня, что случилось, и я ответил, что произошло убийство.

Седьмое окно слева было в квартире 303. Дверь легко растворилась, и я даже не проверил, стоит ли кто-нибудь за ней. Убийца, конечно, скрылся отсюда еще до того, как я перенес тело Солли в дом. Ничего особенного в комнате не было, разве только что по сравнению с коридором здесь было холоднее. Лифтер хотел закрыть окно, но я остановил его: "Пожалуйста, ничего не трогайте". На полу возле окна валялась провощенная бумага, на которой было напечатано слово "mittagessen"... Пепельница, полная окурков...

Я выглянул вниз на улицу. К дому напротив подъезжала карета "Скорой помощи". Двое санитаров протиснулись сквозь толпу, один из них нес сложенные носилки. Я велел лифтеру запереть дверь и ожидать прибытия полиции.

Я должен был действовать, действовать, чтобы не думать о Солли. Это придет позже... Раскаяние,

хуже — чувство вины будет грызть меня, словно ржавчина, и я уже не оправлюсь от этого. Я никогда не подсчитывал, сколько человек убил за последние тридцать лет, и даже мысль об этом никогда не являлась ко мне. Шла война, они были нацисты, враги. Солли был моим другом, и я убил его своей небрежностью, своим легкомыслием...

До того как меня начнут мучить постоянные угрызения совести, надо было перебороть мгновенную вспышку ненависти, и деятельность была единственным болеутоляющим средством.

Черный "мерседес" остановился позади машины "Скорой помощи", когда я спустился вниз. Перейдя через улицу, я прошел во двор отеля, вывел свой "фольксваген" из гаража и четверть часа спустя уже был на Потсдаммерштрассе, воспользовавшись новой окружной дорогой.

Капитан все еще находился в лаборатории. После моего звонка он прибыл сюда следом за своими людьми. Это был тот самый капитан полиции "Зет" Штеттнер, вместе с которым мы проводили операцию "Раушниг — Шрадер — Фогль".

— Что случилось с доктором Ротштейном? — спросил он.

— Только то, что я сообщил вам.

— Мы вызвали на место убийства уголовную полицию. Они допрашивали вас?

— Нет. Успеют сделать это позже. Я хотел осмотреть лабораторию.

Оба ассистента Солли были растеряны. Налет был совершен поспешно, несколько разбитых склянок с культурами валялось на полу. Сержант складывал в портфель журналы, в которые заносились данные исследований, чтобы забрать их с собой.

Все было ясно. Люди "Феникса" знали Соломона Ротштейна. Они подозревали его в двойной игре, но до времени ничего не предпринимали. Может быть, они узнали, что он сотрудничал со мной в последние месяцы перед капитуляцией? Конечно, они прослушивали не только мой телефон, но и его тоже. И, узнав, что он хочет повидать меня, утвердились в своих подозрениях и решили действовать. Поблизости от лаборатории у них не было никого, кто мог бы перехватить Солли, когда он выйдет на улицу, поэтому они были вынуждены отдать распоряжение своему человеку в квартире 303. И еще до того, как Солли достиг Шоннерлинденштрассе, они отдали приказ обыскать лабораторию в надежде найти следы того важного, о чем он хотел рассказать мне.

— Вы что-нибудь нашли? — спросил я капитана. Он пристально посмотрел на меня.

— Это был ваш друг?

Значит, он понял это по моему виду.

— Да, — сказал я. — Вы что-нибудь нашли?

— Только эти журналы и несколько других бумаг.

— Ничего особенного? — Я знал, что он уклоняется от ответа, так как на его службе не рекомендовалось откровенничать с посторонними, даже если они направлены разведкой для сотрудничества с ним.

Он продолжал наблюдать за мной. Я ответил ему пристальным взглядом. Наконец он сказал: "Вот это".

Я увидел продолговатый металлический ящик размером примерно пятнадцать на тридцать сантиметров, выкрашенный темной краской и запечатанный. Лист бумаги был прикреплен прозрачной липкой лентой на верхней крышке. "В случае моей смерти прошу отправить этот контейнер авиапочтой моему ближайшему родственнику Исааку Ротштейну по адресу: Аргентина, Сан-Катарина, Лас Рамблас, Калле де Флорес, 15. Вскрыть только ему лично. С. Р."

— Вы отправите ящик? — спросил я.

— Это будет решаться не мной, но сомневаюсь. Возможно, мы вызовем Исаака Ротштейна сюда, чтобы он вскрыл его в нашем присутствии. — Он вернул ящик сержанту. — Мы уходим, герр Квиллер. Не хотите ли еще раз осмотреть помещение?

— Нет. Позже я прочту показания, которые вам дали ассистенты доктора Ротштейна.

Они уехали. Я следовал за ними в "фольксвагене". На улице было людно. Наступил вечер. Я не был уверен, что меня не преследуют, но сейчас это и неважно. Они и без того уже перешли в наступление. Меня просили явиться в уголовную полицию и сообщить все известное о выстреле. Это заняло у меня десять минут. Они записали мои показания и продержали еще целый час, пытаясь выяснить, кто я такой. Я и намеком не дал им ничего понять. В конце концов мне надоело все это, и я сказал:

— Если вы не найдете достаточно улики в квартире триста три, попытайтесь поискать их в лаборатории на Потсдаммерштрассе. Можете также осмотреть мою комнату в отеле "Принц Иоганн", если желаете. Казалось, это заинтересовало их.

— Вы возвращаетесь к себе?

— Да.

— Можно кого-нибудь послать с вами?

— Пожалуйста.

Раздался телефонный звонок, и один из сотрудников взял трубку, послушал и передал ее мне. Звонил капитан Штеттнер из полиции "Зет".

— Немедленно приезжайте, герр Квиллер.

— Но ведь я только что вас видел!

— Это очень важно.

Я сказал, что приеду. Инспектор уголовной полиции был раздражен, потому что его отдел и полиция "Зет" не ладили друг с другом. Поля их деятельности зачастую пересекались, они постоянно враждовали из-за этого и пользовались любой возможностью насолить друг другу. Так будет продолжаться до тех пор, пока раньше или позже кто-нибудь из начальства не разграничит их обязанности. Пока что такие люди, как я, могли быть полезны для этой игры.

— Вы не поедете в отель сейчас, герр Квиллер?

— Нет.

— Но вы же сами сказали...

— Меня срочно вызвали. Я официально связан с комиссией "Зет". Ведь это так ясно, герр инспектор.

Дорога заняла всего десять минут. Я поставил "фольксваген" на стоянку для служебных машин и заметил там карету "Скорой помощи". Кроме мужчины и женщины в белых халатах, в кабинете находился капитан Штеттнер с пятью своими людьми, бывшими в лаборатории Солли: тремя оперативниками, прибывшими туда первыми, и двумя, которые приехали с капитаном. У всех были закатаны левые рукава рубашек.

Капитан Штеттнер выглядел озабоченным.

— Выяснилось, что одна из разбитых склянок заключала вирулентную бактерию группы... — он посмотрел на врача, боясь ошибиться.

— Обычной оспы, — надломив ампулу, сказал тот, пока сестра ватным тампоном протирала кожу очередного человека, готовя его к уколу. — Это не опасно. И речи не может быть о карантине. Однако рекомендуется принять меры предосторожности.

Я снял пальто. В воздухе стоял запах эфира.

— А что будет с теми, кто совершил налет?

— Я отдал приказание регулярно сообщать по радио и телевидению, — отозвался Штеттнер. — В вечерних газетах также появятся объявления. — Он смотрел, как мне делали подкожное впрыскивание. — Медицинская ассоциация и все госпитали оповещены по телефону и телеграммами, чтобы, если кто-нибудь явится с просьбой об иннокуляции, они немедленно известили полицию. — Он спустил рукав и обратился к доктору: — Можем ли мы продолжать свою работу, как обычно?

Бывают отважные люди, которые чувствуют страх перед инфекцией. Он был одним из них.

— Конечно, даже не думайте об опасности заражения. Но если в течение четырнадцати дней вы заметите сыпь в паху, обратитесь к врачу.

Он кивком приказал медсестре собираться. Я ушел вскоре после них. Вечерняя трансляция биржевых известий начнется через тридцать пять минут. Минут пятнадцать должна была занять у меня дорога до отеля.

Настроение у меня было подавленное, и я должен был сделать значительное усилие, чтобы не вспоминать о Ротштейне и о том удивленном взоре, который он бросил на меня перед смертью. Он слышал мой крик, и связка ключей пролетела мимо его лица; он умер удивленным, не услышав выстрела. Проезжая через Крейцберг, я взглянул в зеркало, ничего не заметил, снова посмотрел, и в конце концов мне стало тоскливо. Ровно никакого значения не имело, была ли за мной слежка. Игра уже перешла через эту грань.

Зажегся красный свет, зеленый, снова красный, а я не трогался с места. Какой-то болван принялся сигнальничать неистово. Я был слишком утомлен, чтобы выйти и стукнуть его. Снова зеленый. Поехал. Как автомат. Птицы — крылатые существа, люди — существа на колесах.

Улица бежала прямо, будто яркая радуга, рвущаяся в темноту неба. Здания раздвигались передо мной и снова смыкались позади. Нога тяжело опустилась на педаль. Еду слишком быстро. Медленно. Что-то не в порядке. Возьми себя в руки. Отдышись. Люди на тротуарах,

Какой-то человек уверенно открыл дверцу и, взглянув на меня, спокойно сказал: "Подвиньтесь". Я пытался поднять руку, чтобы оттолкнуть его, но у меня не было сил.

— Что? — глупо переспросил я.

— Подвиньтесь. Я поведу машину.

Я покорно перетащил свое отяжелевшее тело на соседнее сиденье. Покорность. Худший из грехов

современного человека — покорность.

Он сел в машину, захлопнул дверцу, и машина влилась в поток других машин. Я сидел, опустив подбородок на грудь. Последняя мысль, которую я запомнил: подкожное впрыскивание.

11. ОКТОБЕР

Огромная комната с высокими потолками, позолота, шелка, парча, карнизы, узорчатый паркет, арабески. Герман Геринг катался бы здесь, словно кабан в клевере.

Я пошевелился: никакого головокружения. Я ожидал, что очнусь, как после похмелья, потеряв всякую ориентацию, но лекарство не имело последующего действия. Я сидел в кресле, обитом парчой, с подушкой под головой, передо мной открывалась вся комната, в дальнем углу которой я видел бело-золотую дверь. Я чувствовал себя словно монарх, восседающий на троне и дающий личную аудиенцию. Они неплохо здесь устроились.

Стрелки моих часов показывали 9.01. Прошло меньше часа, как они схватили меня. Они следовали за мной от самой канцелярии полиции "Зет", зная, что инъекция в конце концов окажет свое действие.

В комнате находились четыре человека. Один стоял в дверях, другой — спиной к безвкучному камину, третий смотрел в окно, а четвертый спокойно и не торопясь приближался к моему креслу.

— Простите, — произнес он по-немецки с гейдельбергским акцентом и поднял мне веко.

— Что со мной? — спросил я.

Он отступил назад, любезно улыбнувшись. Элегантно одетый, вьющиеся седые волосы, два золотых кольца на пухлых пальцах, тихий вкрадчивый голос. Конечно, доктор.

— С вами все в порядке.

Все сразу задвигались. Тот, кто стоял у окна, перешел через комнату к двери, а человек у дверей сделал шаг в сторону. Это были охранники. Человек у камина подошел к доктору. Я взглянул на него и тотчас понял, что если мне удастся выбраться отсюда, то это будет зависеть только от этого человека.

— Меня зовут Октябрь, — представился он. Мираж растаял, все шелка, и арабески, и золоченая бронза словно исчезли, и я вдруг оказался в тюремной камере, даже воздух сразу же стал холодным и зябким. Я наклонил голову и ответил:

— Квиллер.

Его глаза казались стальными заклепками, он открывал и закрывал рот, будто лязгал металлическим капканом.

— Можете говорить.

Я не спешил, собираясь с мыслями. Здесь был врач. Я понимал, что это значит. Материал был человеческим, поэтому с ним должно было обращаться по-человечески. Меня пригласили сюда для беседы.

— Как дела у полиции "Зет"? — спросил я. — Так же, как у меня?

— Им впрыснули безобидную жидкость.

— Все это было весьма тщательно разработано.

— И принесло свои результаты. Мы не хотели, чтобы нам причиняли неприятности.

Доктор отошел в сторонку. Сейчас была не его очередь действовать. Холодный воздух ознобом ожег спину.

— И не хотели также повредить мне. Пока.

— Да.

— Почему же вы пытались придавить меня у стены?

В глазах у него сверкнул огонек.

— Это была ошибка.

В большой организации, как я уже говорил, правая рука зачастую не ведает, что делает левая.

Я разглядывал Октобера. Лицо со стальным капканом вместо рта было обманчиво, так что при беглом взгляде можно было принять Октобера за человеческое существо. Лицо узкое, продолговатое, подбородок

такой же ширины, что и лоб. Гладко приглаженные, будто приклеенные волосы, как у Гитлера, но без клока. Жесткий взгляд холодных серых глаз. В них не было ничего, кроме черных зрачков, ни намек на присутствие души. Нос — прямая линия. Рот — прямая линия. Ничего больше. Я продолжал глядеть на него, и он сказал:

— Говорите.

— Мне очень хорошо, — отозвался я.

Он мог бы знать, что я никогда не заговорю. Если кто и заговорит, то только не я, разве что полумертвые останки того, что являлось Квиллером, будут бормотать что-нибудь в предсмертной агонии. Я надеялся, что ничего не выдам. На земле жили люди, которых я должен был защитить. Единственная

гарантия, которую я мог дать этим людям, — это то, что если я предам их, то это буду не я, Квиллер, а сгусток крови, хрящей и боли, не осознающий, что он делает. Я видел в Бухенвальде людей, которых допрашивали...

— Мы знаем, кто вы, — вновь заговорил Октябрь. — Во время войны вы отказались служить в армии. Маскируясь под немецкого солдата, вы пытались саботировать проведение в жизнь высшего решения, "спасая" недочеловеков от того, что в действительности являлось их предначертанной судьбой. Вам не удалось ваши претенциозные попытки. После войны, когда польское, датское и шведское правительства наградили вас, вы отказались принять награды, тем самым признав свое поражение и свой позор. Нам все известно про вас.

Я принялся делать медленные и глубокие вдохи и выдохи, чтобы наполнить кислородом кровь, насытить мышцы. Я напрягал мышцы рук, ног, живота и вновь расслаблял их. Напрячься, расслабиться. Напрячься, расслабиться. Увеличить приток кислорода, усилить кровообращение, повисить мускульный тонус.

— Нам известно, что в настоящее время вы находитесь на службе в МИ-б. Неверно. Пусть себе следит за мной, желая по глазам узнать, что из сказанного им соответствует действительности, а что нет. Мои глаза ничего не выражали. Напрячься... Расслабиться...

— Вы думаете, что мы не знаем, кто в течение последних шести месяцев предавал суду в Ганновере так называемых военных преступников. Мы знаем, чьих это рук дело. Вас видели в разных концах страны, и мы создали ваш устный портрет. Мы опознали вас, когда вы появились в Нейесштадтхалле. Нам донесли о том, что ваша охрана отозвана, и мы поняли, что вам поручили какое-то особое задание. Мы знаем о вас почти все.

Глубокий вдох. Окно ближе, чем дверь, но этот путь для бегства не подходит. Тяжелые шторы задернуты, но в щель между ними проникал свет уличного фонаря, отражающийся на голых ветвях платана. Это помогло мне определить, что комната расположена на третьем, может быть, на четвертом этаже. Мне не будет дано времени на поиски балконов или водосточных труб. Напрячься-Расслабиться...

— Но нам не хватает кое-какой информации относительно вашего Центра. Мы внимательно наблюдали за его действиями и хотим пополнить наши данные о МИ-б.

Грубая работа. Пытается вызвать меня на разговор, чтобы я сказал, что он ошибается, что я не связан с МИ-б. Равнодушный взор. Глубокий выдох...

Октябрь приковал ко мне свои глаза-заклепки.

— Поэтому мы вынуждены заставить вас говорить. — Он был слишком умен, чтобы грозить мне, ибо знал, что я видел людей, которых допрашивали ему подобные. Он просто-напросто не оставлял мне иного выбора — только говорить. — Начинать, — произнес он.

Расслабиться... Напрячься... Не забывать, что свидание с этим человеком являлось моей целью.

Правда, мяч прорвал сетку: я надеялся явиться сюда по своей воле, полностью владея собой, и с шансом убраться отсюда в нужный момент. Трюк с уколом был проделан довольно ловко, хотя заключался всего лишь в телефонном звонке капитану Штеттнеру и в появлении там под видом врача "Скорой помощи" человека из "Феникса". У "Феникса" были такие возможности: один из осужденных по Ганноверскому процессу занимал высокий пост в медицинских учреждениях Моенберга; в руководстве многих министерств было полно нацистов. Попытка доставить меня сюда в бесчувственном состоянии стоила того, чтобы затратить на нее время и усилия.

Нужно все время помнить, что моя задача заключалась в том, чтобы оказаться на виду, привлечь огонь на себя и, таким образом, обнаружить неприятеля. Я это проделал. Преимущество было на моей стороне. Нужно все время повторять эту мысль, она поможет мне бороться за жизнь, поможет не потерять рассудок.

Глубокий вдох. Напрячься... Расслабиться... Преимущество на моей стороне.

— Вы будете говорить? — спросил Октябрь.

— Нет.

Обстановка переменилась. По движению его руки два охранника отошли от двери и остановились метрах в трех от моего кресла. Оба вооружены восьмиметровыми манслихами с плоской рукояткой. Октябрь бросил взгляд куда-то поверх меня, и я понял, что сзади находится пятый человек. Он показался в моем поле зрения — тот самый доктор, которого я видел в кабинете капитана Штеттнера, в том же — без единого пятнышка — халате. Придвинув маленький, покрытый лаком деревянный японский столик, на котором были аккуратно расположены медикаменты и инструменты, он приступил к делу. "Наверное, то же самое подкожное впрыскивание", — подумал я.

Все прояснилось. Другой врач, с благородной сединой, был психоаналитиком. Значит, никаких грубых попыток мне не предстоит пережить. Только непосредственное клиническое вторжение в психику.

Я должен был незаметно переменить положение тела, чтобы подготовиться к тому, что я собирался сделать. Охранники приблизились, усложняя мою задачу, но зато оставив открытой дорогу к двери. Революеры меня не пугали: я был почти уверен, что они не будут стрелять. Я нужен им живым. Выстрел в ногу, чтобы остановить меня, был не страшен, разве только пуля заденет главный нерв и парализует конечность. Человек может бежать и с простреленной ногой, если у него есть сила воли. В мирное время я никогда не ношу с собой оружия. Это лишняя помеха, физическая и психологическая. Некоторые агенты нагружаются оружием, шифрами и ампулами с ядом. Я путешествую налегке. К тому же пистолет совершенно бесполезен при обороне на расстоянии. У вас не хватит времени выхватить его, если вы увидите, что противник целится в вас. В случае с Солли Ротштейном я не являлся мишенью, ждал выстрела и видел в окне винтовку, но из револьвера не мог обезвредить снайпера на

таком расстоянии, разве только по счастливой случайности. Психологически вы имеете преимущество, будучи невооруженным, при том условии, что противник знает об этом. (Эти люди знали, что у меня нет оружия. Они, конечно, обыскали меня, когда везли сюда.) Зная, что у вас нет пистолета, они не боятся вас, а боязнь обычно вызывает настороженность; будучи невооруженным, вы тем самым разоружаете противника. Любое требование под угрозой пистолета всегда сопряжено с риском провала, так как убитый не может быть им полезен.

Существует несколько специфических ситуаций, когда револьвер необходим. В данном случае этого не было. Револьвер был бы сейчас совершенно бесполезен.

— Снимите пиджак, — приказал Октобер.

Доктор-анестезиолог наполнил шприц какой-то бесцветной жидкостью.

Встань. Сделай глубокий вдох. Скинь пиджак. Выжмись на пальцах ног, дай им размяться. Запомни: преимущество на твоей стороне. А теперь — завершающий реквизит: ярость. Крови требовалась шоковая доза адреналина для того, чтобы помочь мгновенному сильному физическому напряжению. Они хотят придушить меня, эти паршивые гитлеровско-бельзенские ублюдки

Снятый пиджак уже сам по себе являлся оружием, словно плащ матадора. Я мгновенно опустил его на голову Октобера, ослепив его и одновременно ударив коленом в пах, тут же нащупал край японского столика и швырнул его в морду охраннику, стоявшему слева. Второй охранник наотмашь нанес мне удар, который ожег мне лопатку, когда я кинулся ему в ноги. Расчет был отличным, по инерции я пролетел вперед, ударив плечом по ноге, а левой рукой ухватив его пониже колена: он не мог двинуться и завопил благим матом, когда раздался треск сломанного коленного сустава.

Послышался выстрел, стреляли в воздух, и я знал об этом. Когда охранник повалился навзничь, я потерял равновесие и, опершись рукой о покрытый толстым ковром пол, увидел свою цель — двери. До сих пор ситуация благоприятствовала мне. Октобер отшатнулся назад после вторичного удара в пах; я слышал, как заурчало у него в горле; один охранник был выведен из строя и лежал со сломанной ногой. Анестезиолог находился в растерянности при виде своего порушенного хозяйства и вообще не был способен к рукопашной схватке. Психоаналитик тоже не полез бы в свалку, не его это поле деятельности. Я побежал. Раздался еще один выстрел. И снова стреляли не в меня, ибо с такого расстояния они могли бы при желании запросто раскроить мне череп. Слова команды со стороны Октобера. Правая нога у меня вдруг загнулась — чьи-то руки клещами впилась мне в лодыжку, и я повалился на пол, отбиваясь от держащего меня охранника. При падении я ударился плечом, и охранник еще крепче вцепился в меня. Свободной ногой я уперся ему в голову, пытаюсь оторваться. Из всех сил я сдавил ему шею. Он захрипел, одной рукой стараясь сбросить с шеи мою ногу, а другой все еще продолжая держать меня. Я ударил его каблуком по голове. И снова безрезультатно. — Он перекатился по полу и вновь вцепился в меня. Еще удар, но на этот раз удар получился недостаточно сильным.

Кто-то остановился надо мной, чья-то рука сдавила мне горло, и это было все. Отчаянное усилие, но тут же мои ноги, руки и шея оказались словно в тисках. Я услышал голос Октобера и стук захлопнутой двери. Прошло несколько секунд — и руки, державшие меня, ослабли. Меня отпустили.

— Можете встать, — сказал Октобер.

Я поднялся, переводя дыхание. Осмотрись. Отдохни. Наберись сил.

Японский столик, разбитый в щепки, валялся на полу. Доктор все еще подбирал свое имущество. Один охранник стоял позади меня, я чувствовал его присутствие. Шесть других появились в комнате и стояли передо мной с револьверами наготове. Первый охранник лежал на полу, нога в колене у него была подвернута под неестественным углом. Врач-психоаналитик стоял позади охранников, глядя мне прямо в лицо с напряженностью художника, словно хотел перенести на полотно то, что он видит. Октобер будто окостенел; он явно превозмогал боль и сдерживался, чтобы не схватиться руками за пах. Краска понемногу возвращалась на его лицо, но капли пота стекали по подбородку.

Доктор взял маленький шприц, склонился над поверженным охранником, сделал ему укол и выпрямился. Никто не произнес ни слова. Моя правая рука онемела, болела лопатка. Пока что я отделался легко, они могли обойтись со мной куда хуже. Видимо, охранники были хорошо обучены и получили приказ не наносить мне увечий, только в случае крайней необходимости.

— А ну, двое из вас, — сказал Октобер. — Отнесите его к доктору Лове и возвращайтесь.

Охранник был без сознания. Его подняли и понесли. Двери открылись и вновь закрылись. Октобер вопросительно взглянул на анестезиолога, и тот ответил:

— Я готов продолжать, когда вы скажете, герр Октобер.

Пятеро оставшихся в комнате охранников по знаку Октобера приблизились ко мне.

— Сядьте на место, — приказал Октобер. Его узкое лицо ничего не выражало: никакой ненависти в глазах, никакой боли. Он не утер пот с подбородка, словно ничего и не случилось. Словно и не было боли. Он был выше этого.

Я снова сел в парчовое кресло и принялся обдумывать, какой следующий шаг мне предпринять.

Октобер продолжал:

— Пандер, целься в левую ногу. Герхард — в правую. Шелл — в левую руку, Браун — в правую.

Крозиг — в пах.

Я видел, как поднялись руки с оружием, направленным в мою сторону.

— При малейшем движении — стреляйте, не ожидая приказа. — Октобер обернулся к доктору, —

Подойдите к пациенту сзади, чтобы не мешать людям стрелять в случае необходимости. — Мне он сказал:

— Не двигайте ни рукой, ни ногой, даже во время укола.

Доктор подошел ко мне сзади, закатал рукав и начал протирать кожу ватой. Запахло эфиром.

Психоаналитик все еще продолжал изучать меня, оценивая материал, с которым ему предстояло работать.

Пятеро охранников глазели на меня, держа пальцы на спусковых крючках. Я перестал думать о следующем шаге. Возможностей для него не существовало.

— Приступайте.

Игла вонзилась мне в тело.

12. НАРКОЗ

Семь человек казались совсем крохотными, и я понимал, почему: они стояли перед дверьми. Значит, причиной было расстояние, сделавшее их маленькими, ничего больше.

Часы показывали, что со времени инъекции прошло пятнадцать минут, и я начал обращать внимание на визуальные соотношения: величину людей у двери, интенсивность света, отражающегося на позолоте подоконников, высоту потолка и прочие вещи. О том, что мне в кровь ввели не препарат, вызывающий галлюцинации, сомневаться не приходилось; они нуждались не в том, чтобы я галлюцинировал, а в том, чтобы говорил правду.

В комнате было очень тихо. Огромная люстра неподвижно висела под потолком, словно бриллиантовая луна. Люди вокруг стояли, словно изображая живые картины: семеро охранников в дальнем конце комнаты, неподвижные; ближе их Октобер, руки назад, ноги слегка врозь, неподвижен; еще ближе психоаналитик, он разглядывает меня, склонив голову набок, неподвижен.

Возле моего кресла доктор, сделавший укол, мне он не виден.

Моим единственным союзником были часы. После инъекции прошло шестнадцать минут. Часы были не мои, а врача-психоаналитика. Углубившись в изучение меня, он забыл, что я, готовясь сопротивляться действию наркотика, могу прибегнуть к их помощи; он совершил ошибку, скрестив руки на груди. Когда действительность начинает ускользать от вас, следует уцепиться за что-нибудь реальное, как утопающий хватается за доску в бушующем океане. Созданное человеком условное время является реальностью и измеряется точными степенями; вы можете посчитать, что прошло шестьдесят минут, но часы поправят вас, если вы ошиблись. Часы значительно помогли мне. Они исправляли всякое искаженное представление о прошедшем времени, предупреждая, что мое ощущение времени и, следовательно, ясность мышления ухудшаются, и что поэтому следует сделать над собой усилие, дабы выйти из этого состояния; они оказывали мне помощь в определении, что является моим непосредственным врагом: пентотал, амитал, гиоцин или что там введено в мою кровь и окутывает клетки мозга. Различные наркотики действуют по-разному и требуют разного времени.

Я не мог взглянуть на собственные часы, потому что они заметили бы это и, поняв опасность, отобрали бы их у меня. Мне хорошо были видны часы врача-психоаналитика, потому что он держал руки на груди, и я периодически оглядывал его с ног до головы слипающимися глазами, словно начинал ощущать действие наркотика. В эти моменты я успевал взглянуть на его часы. Семнадцать минут прошло...

Ни звука не раздалось в комнате в течение этих семнадцати минут, и тогда врач заговорил:

— Меня зовут Фабиан, — сказал он с застенчивой улыбкой. — А вас?

Анестезиолог взгромоздился на табурет рядом со мной, и я теперь видел белизну его халата на самой грани поля моего зрения. Он перетянул мне правую руку, следя за давлением крови, чтобы предупредить возможный обморок, проверял мой пульс и все время прислушивался к моему дыханию.

Действие снотворного началось лишь теперь, и поэтому я медленно перешел в контратаку, заставляя себя не заснуть и занявшись разрешением проблемы: какой препарат они мне впрыснули? Конечно, он был из барбитуратной группы, не амфетаминовой; меня клонило ко сну, я не чувствовал возбуждения. Но пентотал должен был бы подействовать быстрее. Вопрос психоаналитика дал мне ключ к пониманию: я должен был ощутить настоящую потребность к общению с человеком, расспрашивающим меня. Но действие любого наркотика разнится в зависимости от степени сопротивляемости ему. На операционном столе я бы не вел мысленной борьбы с хирургом, собиравшимся исцелить меня. В этой комнате и в этом кресле я был готов бороться за свою жизнь.

Чтобы определить, какой препарат мне ввели, я должен был совершить сложные сопоставления действия различных наркотиков, учитывая реакцию в данных условиях (соответственно известным мне характеристикам моего организма).

Игра не стоила свеч...

Спокойно. Игра стоит свеч. Если ты не будешь соблюдать осторожность, это может повести к смерти людей, таких людей, как Кеннет Линдсей Джоунс...

Веки у меня отяжелели. Врач наблюдал за мной, ожидая моего ответа. Стрелки на часах едва двигались... Он только что сказал... Что он сказал?... "Меня зовут Фабиан. А вас?" Сделай поправку и учти — казалось, что прошло пять минут, а стрелки показывают, что прошло всего тридцать секунд...

Отвечай отчетливо, звонко.

— Квиллер. — Неплохо.

— Это фамилия. А имя?

Имя... Имя... Чувство симпатии...

Молчу.

Мысли ясны. Если это пентотал, то вряд ли он может ожидать какого-то общения с моей стороны. Сейчас он начнет задавать вопросы перед тем как я погружусь в небытие, затем снова начнет расспрашивать в сумраке пробуждения.

Какие еще ясные мысли? Фабиан. Мне приходилось слышать это имя среди имен представителей медицинского мира... Доктор Фабиан... Кто-то называл его... Выдающийся психоаналитик. Группа "Феникс", она обращается за помощью к лучшим...

— Как ваше имя?

Молчу.

Он может проиграть. Я медленно теряю сознание, и у него не хватит времени, чтобы получить от меня связанные ответы. Может быть, это не пентотал? Что они хотят узнать? Во-первых, мою должность, местопребывание берлинской резидентуры, фамилии агентов, действующие шифры и так далее. Во-вторых, что более важно, они хотят узнать, что мне известно относительно "Феникса". В-третьих, в чем заключается мое нынешнее задание. Они не будут спрашивать меня об этом прямо. Они прибегнут к испытанному методу наводящих вопросов, которые вынудят меня уклоняться от ответов и лгать, чтобы скрыть правду, так что даже малейшее замешательство может выдать меня. Этот способ был неэффективен лишь для выяснения имен.

— Инга, — шепотом ответил я.

Красная черта. Я перешел через нее. Прошло всего несколько секунд, как он спросил: "А как ваше имя?" — вовсе не десять минут, как мне показалось. Я сосредоточивал внимание на необходимости ясно мыслить (и тем самым сопротивляться воздействию снотворного). Типичная реакция на пентотал началась подсознательно: скрытые мысли помимо воли лезли на поверхность, подавляя все другие мысли об опасности и необходимости владеть собой.

— Вас зовут Инга? — переспросил он, не проявляя никакого удивления.

— Да. — Перехитрю ублюдка, ублюдка, ублюдка...

Первый натиск сомнений: ты думаешь, что сумеешь перехитрить эту братию? Перехитрить испытанный и проверенный наркотический препарат, подавляющий твою волю, и психоаналитика с международной репутацией?!

Да. Я должен, должен, должен...

Глаза закрывались. Действие препарата становилось сильнее. Инга была в моих мыслях, иначе я не произнес бы ее имени, поэтому дай ей волю, подчинишься ей, пусть она довлеет над всеми другими дремлющими в мозгу твоим образами, и посмотрим, как это понравится Октоберу. Ему придется

доложить своему фюреру, что он ничего не смог узнать относительно квиллеровского Центра, но что он узнал все относительно гибкости ее тела, полумрака ее комнаты... Ключи, брошенные в него, лицо умирающего человека. Солли, увернись!

Соскользнул локоть. Отблеск золота, двойной блик золота, белизна ее шеи и маленькие, маленькие люди, семеро маленьких людей, моя фамилия Квиллер. ее имя Инга, расскажу вам о ней, темной-темной, такой темной, что вас щемит желание увидеть ее худощавое длинное тело, одетое в черный костюм; женщина ли она, или продолжение какого-то давно умершего тела, или все еще девочка, ощущающая запах горелого мяса в бункере фюрера, дорогой мой Фабиан, она любит фюрера, распростертого на ее черном диване и пляшущего с призраками под ночную музыку, Инга, любовь моя, ненависть моя, тень, темная тень, одетая в темное, покажись Фабиану и скажи ему, скажи ему, скажи ему!..

Я приходил в себя, но все сместилось со своих мест, словно три или четыре негатива, отпечатанных вместе: ее лицо, плывущее на поблескивающей плоскости стола, человек с седыми кудрями и небольшими

черными усиками, стоящий передо мной; образы реального и потустороннего толклись в беспорядке перед

моим мысленным взором. Это она расцарапала мою руку. Плечо у меня ныло.

Затем возникли сомнения. Что было реальностью? И существовала ли она вообще? Передо мной проплывали лица: лицо Поля, лицо Хенгеля, Брэнда — лица людей, которых я видел всего один раз в жизни. А может быть, я не видел их никогда? Кто такие этот Поль, Хенгель, Брэнд? Я выдумал их. Они прошли мимо, ничего не знача для меня. Я начал думать, что теряю разум.

Циферблат сверкнул золотом. Руку жгло. Нет, не она... Игла... ее ногти. Мне снова сделали укол, пока я находился без сознания. Жжет. Кровь бурлит, что-то крадучись приближается к мозгу. Другая рука тоже чувствует тяжесть. Какой-то шум. Это не Фабиан. Резиновая груша накачивает повязку на руке. Кто-то щупает мой пульс — сбрось его руки. Сбрось! Нет сил.

Люстра плавает в небе, мерцая миллионами звезд.

Чувство паники, затем самоконтроль: злоба. Злоба из-за того, что я поддался панике. Время, следи за временем! Нет, не выходит. Он опустил руки, идиот! Возникла мысль: подумай о том, что означает боль. Очнись, или они обведут тебя вокруг пальца. Тебя, Квиллер! Думай!

Воспоминание — одна инъекция, эффективный период — двадцать минут, снотворное, возможно, пентотал; другое воспоминание: меня не будили, не интересовались моим именем. Почему меня не допрашивали? Возвращаюсь из состояния бессознательности, воспоминание о каких-то снах, связанных с Ингой, результат второй инъекции и моя реакция на нее. Чрезвычайно важно выяснить, каким препаратом они пользуются, чтобы сопротивляться его действию. Или хотя бы совершить такую попытку.

— Вы хорошо поспали?

Звук помог зрению. Теперь сознание очень быстро возвращалось ко мне, словно ракета, возникающая из глубины. Это не пентотал. Все начало звучать громче, становилось значительно яснее: свет перестал мигать, стал ярким, и его лицо, словно вытравленное на металле, на фоне лепки на потолке; глаза его светились. Сердцебиение усилилось, грудь вздымалась и опадала — начало покоя...

Бог мой, я понял, что они сделали!

— Теперь вы чувствуете себя самим собой, Квиллер. Скажите, как ваше самочувствие?

— Хорошее, — ответил я, прежде чем сумел остановить себя.

Значит, это не пентотал. Этот фокус был мне тоже известен: постепенное введение наркоза с амитал-натрием, затем шоковая доза бензодрина или первитина, чтобы разбудить сонного. Голова у меня была так

ясна, что я мог дословно вспомнить то, что говорил нам в 1948 году лектор: грубое пробуждение делает насущно необходимым желание говорить — больным овладевает болтливость такой степени, которую до этого в нем нельзя было предполагать.

Тело дрожало, и нервы напряжены так, как если бы мою кожу стянули сетями из проволочек под электрическим током. Яркий свет, словно отраженный в гранях бриллианта, и звук его голоса, звонкого и чистого, словно удары колокола. Я чувствовал, как все мое тело наливается мощью, и в экстазе мне хотелось кричать, кричать от сознания своей силы. Я поднял руку, чтобы одним ударом раскрошить вдребезги люстру, и вдруг осознал, что на моем лице появилось растерянное и глупое выражение, так как я

не смог даже пошевелить рукой. Они привязали мои руки и ноги к креслу, зная, каким я стану сильным, таким сильным, что справлюсь с десятком охранников. И затем наступил спад: я был могуч, но бессилён, не мог двинуться. Я хотел разговаривать, но я не должен был. Результат спада: возбуждение. Язык распух и болел от напряжения, вызванного желанием говорить, которое я подавлял в себе. Молчи! Это все, что ты

должен делать. Молчи!

— Теперь вы можете рассказать мне все, что пожелаете, Квиллер.

— Мне нечего рассказывать.

— Я слушаю вас...

— Я ничего не скажу, Фабиан. Мне нечего сказать вам.

— Но ведь между нами существует обоюдная симпатия...

— Послушайте, можете держать меня здесь, пока лицо у меня не почернеет, но ничего не выйдет, ничего у вас не выйдет! — Я перешел на английский. Он тоже.

— Мы не хотим долго держать вас здесь потому, что ваша резидентура начнет беспокоиться о вас. Вы так давно не докладывали о себе...

— Я не докладываю, не обязан ничего докладывать, они... — Молчи, молчи!

— Но вы не должны терять связи с ними...

— Существует почта и...

— Ну? Ну?

— Почтальон всегда звонит дважды. — Пот стекал у меня по лицу, я дышал тяжело, словно пара кузнечных мехов.

— Мы сообщили вашей резидентуре, что некоторое время вы не будете поддерживать с ними связи...

— Не надо никаких марок, никаких марок, Фабиан — Я же говорю, никаких марок! — Безумие, безумие, ты выбалтываешь все одним духом. Говори опять по-немецки и попытайся запутать мыслительный процесс. — Послушайте, мне нечего сказать вам, вы думаете, что можете привязать меня к креслу и накачивать меня наркотиками, рассчитывая, что я выдам таких людей, как Кеннет Линдсей. Солли, бедный Солли, это моя вина, моя вина, я сказал ему это, но он не слышал, он был уже мертв, — вы думаете, он простит мне, скажите, простит? Простит когда-нибудь? Простит?..

Всего трясет. Запах пота. Снова спад, но иного рода: совершенно ясно представляю себе, совершенно отчетливо — они добиваются, чтобы я назвал им имена и шифры и какое у меня задание, — отчетливо сознаю, что должен держать себя в руках, спасти жизнь многих людей и само существование резидентуры. И все время непреодолимое желание выболтать все и сразу покончить с этим... Как у алкоголика: рука, тянущаяся за бутылкой, и мозг, тщетно пытающийся остановить это движение...

— Вы не должны наклеивать марки на письма? Нам это известно. — Нежный голос, почти гипнотизирующий. — Нам неизвестно лишь, как вы получаете сообщения. По-видимому, это очень умно придумано, если никто, ни один человек этого не знает...

— А откуда, черт возьми, кто-нибудь может знать, если все делается строго конспиративно? Вы думаете, что наша организация могла бы противостоять людям, подобным людям из "Феникса", если бы половина администрации не была занята тем, как направлять и получать секретные сообщения без Поля в ящике-контейнере, и Вин... Винограда... Винограда... Винокура... одного поля ягода... когда она склоняется над тобой, но я не скажу, не скажу, не скажу...

— Виноград? Винокур... Дальше... дальше...

— Все, все!

— О, я знаю, о каком ящике вы говорите...

— Нет, вы там никогда не были...

— Поле? Ящик в поле? Полевой ящик?

— Она стройна, говорю я вам!

— Ящик... Ящик... Какой ящик? С виноградом?

— Гадайте еще раз...

— Помогите мне.

— Гадайте, гадайте, Фабиан... Фабиан... Прости меня, Солли. Это я виноват...

Ясное ощущение опасности, ясное ощущение беспомощности, они ухватились за виноград, боже, помоги мне, я проговорился о Поле... Виноградное поле... Молчи! Или пусть он созреет, виноград... Три мысли — Инга (секс), Кеннет Линдсей Джоунс (потрясение от гибели) и Солли (чувство вины). Могут играть на этих трех вещах, потому что они отвлекают мое внимание и уводят от исповеди. Так будет безопаснее, потому что двое из них мертвы, а она, она — сама смерть...

Снова охватывает дрожь. Кресло вибрирует, словно сиденье в самолете, взмывающем в небо. Рот полон языка и — жажда говорить, говорить, говорить... "Цветы у стены-Цветы, я принесу цветы на могилу Солли, в случае моей смерти перешлите контейнер Солли на Флорес Лас Рамблас лично — я сказал лично, слышите меня, слышите, проклятые ублюдки? Дрожь, лихорадочный озноб и чья-то рука на кисти моей руки.

— Что со мной, доктор? Что со мной?

Я слышу свой голос. Это я кричу, да, я... Если бы только Солли услышал меня!

— Это в Барселоне. Мы знаем...

— Вы знаете не все.

— Мы знаем авеню в Барселоне, которая называется Лас Рамблас. А какой номер?

— Испанская инквизиция в новом стиле при помощи амитала, а вы видели когда-нибудь быка с кольцом в носу, быка на арене с кольцом в носу? Она стоит, как матадор, ноги вместе, бедра вперед, и вы хотите забодать ее, как бык, если она будет стоять так на арене, на арене...

— Вы не забыли номер в Лас Рамблас?

— Вы его не знали и не узнаете...

— Нам известно, что это не пятнадцать...

"Ходят косари, ходят косари по лугу..."

— Ведь мы же должны послать туда коробку-контейнер, но не знаем номера дома...

— Убирайтесь к дьяволу!

— Где находится ваша резиденатура? Уж конечно, не в Барселоне?

"Держись, Квиллер! Боже мой, как тяжело! Держись, будь они прокляты! Ты обладаешь преимуществом перед ними. Используй же его, Квиллер!" Период максимальной эффективности препарата заканчивается, и я чувствую, что скоро начну освобождаться от действия инъекции. Что им удалось добиться от меня? Всего лишь четыре имени: Поль, Джоунс, Солли, Инга... Да, но Солли и Джоунс мертвы, Инга — сумасшедшая, а Поль — вне их досягаемости. В телефонном справочнике Берлина много Полей, и по одному лишь имени его не найти. Но еще? Возможность посылать письма без марок, коробка-контейнер, но ничего существенного... Максимальная точка действия препарата достигнута! Продолжай держать себя в руках, Квиллер! Спокойнее!

— Мы отправим контейнер в Барселону, и ваш человек сможет получить его в Лас Рамблас. Ну, что проще? Нужно всего лишь поставить номер на коробке и...

— Где я?

— В Лас Рамблас. Да, но какой номер?

— Пять.

— Пять?

— Шесть, семь... Все порядочные негры...

— Пятьдесят шесть? Точнее!

"Заметно, что они начали уставать. Превосходно! Их давление на меня ослабевает. Мое сознание проясняется, и все представляется мне значительно отчетливее. Буду продолжать их обманывать".

— Бурро — по-испански осел. Вы говорите по-испански? — Я не мог молчать, мною овладело неудержимое стремление говорить. Это все еще результат инъекции, однако ее воздействие окончится уже

через несколько минут.

— В Лас Рамблас я всегда разговариваю по-испански. Может быть, вы хотите через нас связаться со своим человеком в Барселоне?

— Сегодня они уже настороже, а вчера... — (Следи за собой, ты можешь проболтаться!) —

Послушайте, если вы полагаете, что...

— Почему вы остались в Берлине? — В голосе у него впервые прозвучало плохо скрываемое раздражение.

— Новое поколение изобретает такую музыку, о которой раньше никто даже и не думал.

Сложнейший, чарующий вас балет. Испытайте меня...

— Мы полагали, что вы вылетаете...

— Пусть летают свиньи, пусть летают фениксы, и чем выше они поднимутся...

— Фениксы? Феникс — да. Как вы узнали о "Фениксе"?

— Вы подслушивали мои телефонные разговоры, мерзавцы. Ничего вы...

— Что делал Солли? — Моя вина, моя вина...

— Над чем он работал?

— Нацистская война... это же преступно...

— Какая война? Бактериологическая? Нам об этом хорошо известно. Что должен сделать с контейнером ваш человек в Барселоне?

"Ничего существенного я не должен говорить. Положение все еще опасное. Мои ответы — путанные и неясные. Это хорошо, однако он умело отбирает из них полезные детали. Он обязан чего-то от меня добиться и сделать это поскорее, иначе будет поздно, и ему это понятно; некоторые его вопросы слишком прямолинейны, как, например, почему я в Берлине. Он явно торопится... Мое состояние улучшается,

худшее уже позади — покалывание кожи прекратилось, не поддающееся контролю беспокойство проходит, ясность мышления восстанавливается".

— Только что звонили из вашей резидентуры: вам приказано немедленно отчитаться в своих действиях. Начинайте, Квиллер.

Действие инъекции закончилось, и я почти полностью владел собой.

— Начинайте отчитываться, Квиллер!

Физически я уже не мучился, если не считать боли в плече и жажды. Плохо, что у меня не было желания к чему-то готовиться, и я ощущал какую-то потерянность. Это не может продолжаться: если я выживу, то только за счет сообразительности, и мне следует тщательно готовить свои дальнейшие действия.

Охранники все еще стояли поодиночке в дальнем конце комнаты, но оружия у них я не видел.

Октобер не двигался. Фабиан повернулся к нему, и мне удалось в этот момент взглянуть на его часы.

10.55. Таким образом, вся история продолжалась полтора часа.

Нужно как следует подумать. Почему Фабиан повернулся, чтобы взглянуть на Октобера? Они оба отошли от меня, остановились приблизительно в центре комнаты, и до меня донесся их шепот, но разобрать слов я не мог. Конечно, они отказались от попыток силой воздействовать на меня, и Фабиан в конце концов был вынужден прибегнуть к обычному вымогательству: "Начинайте отчитываться, Квиллер!" Не выйдет!

В комнате царил тишина, никто не шевелился, и я по-прежнему слышал, как они шепчутся. Пахло эфиром. Я ни о чем не думал. Но я же должен заставить себя думать! Почему я ни о чем не думаю? Ответ очень прост — я знаю, что будет дальше, так как это единственное, что они еще могут сделать.

Октобер повернулся и направился ко мне. Он заложил руки за спину, глаза у него остекленели; я тут же вспомнил человека в черной тщательно подогнанной форме штурмовика, который стоял вот так же, заложив руки за спину, и говорил: "Некогда... я хочу поспеть в Брюкнервальд к обеду". На всех гитлеровцах лежал одинаковый отпечаток, особенно бросающийся в глаза, когда они готовились сделать то

же самое, что и стоявший передо мной человек.

— Вы напрасно потратили мое время, — тихо заявил он, — а это непростительно.

Октобер повернулся и прошел вдоль группы охранников. Голоса он не повышал, но его слова я слышал.

— Шелл, Браун! — Двое сделали шаг вперед. — Ему будет сделана инъекция. После того как он потеряет сознание, отвезите его на Грюневальдский мост, убейте выстрелом в затылок и бросьте в воду.

13. МОСТ

Бар на Моллерштрассе был еще открыт; я зашел туда и, взяв стакан горячего грога, уселся за столик; стакан я держал в руках. Кельнер вернулся за стойку и принялся разглядывать меня из-за кофеварки. Длинной ложкой я мешал в стакане, иногда надавливая на ломтик лимона и наблюдая за пузырьками воздуха. От грога поднимался сильный аромат, и я жадно вдыхал его. В углу обнималась молодая пара, а у окна сидел худой человек, погруженный в глубокое отчаяние. Других посетителей в баре не было. В такую зимнюю ночь, как сегодня, бар был убежищем лишь для отчаявшихся и влюбленных, и я оказался здесь единственным посторонним, так как ни к тем, ни к другим не принадлежал. Как только грог остыл, я его выпил и заказал еще.

Я перестал дрожать, а если ощущал, что меня вновь вот-вот затрясет, то усилием воли подавлял приступ и затем сидел не напрягаясь. Мокрая одежда на мне начала просыхать.

Из дома, где меня допрашивали, я был вывезен без сознания. Уклониться от инъекции я не мог, так как был привязан к креслу. Укол подействовал секунд через тридцать, в течение которых я мог еще наблюдать за ними. Октобер стоял рядом и смотрел на меня. Из дальнего конца комнаты подошли два охранника и остановились, ожидая, пока я потеряю сознание. В течение этих тридцати секунд я усиленно боролся с действием препарата, понимая, что, если он на меня подействует очень скоро, моя последняя надежда на спасение исчезнет. Из-за кресла появился анестезиолог и нетерпеливо взглянул на меня. Я понял, что препарат должен был подействовать уже секунд через пять — десять, но мне удалось растянуть этот срок секунд до тридцати. Анестезиолога это обеспокоило, однако я почти сразу же потерял сознание всего лишь с одной утешительной мыслью: никто не будет тосковать обо мне...

...Смерть отождествляется людьми с мраком и холодом, и я решил, что умер. Воды Леты плескались у моих ног. Однако возвращающаяся жизнь была хуже смерти из-за холода. Я лежал, уткнувшись лицом в землю, но, подняв голову, увидел цепочку огней на мосту. В моем не совсем еще проснувшемся сознании мелькнула была мысль; должно быть, и после смерти есть какая-то жизнь, однако я заставил себя не думать об этом. Меня бил озноб, и я все еще продолжал цепляться за землю.

Пуля по-прежнему причиняла боль, я не мог повернуть головы.

С большим трудом я вытащил ноги из ледяной воды и попытался нащупать рану на шее, но ничего не нашел и сообразил, что ее там вообще не было, после чего боль сразу же начала затихать. "Убейте его выстрелом в затылок", — распорядился Октобер, и я решил, что именно так и произошло.

Я пролежал еще минут десять, усиленно размышляя, и в конце концов сделал вывод, что в дальнейшем мне следует жить как можно более незаметно. Я осмотрелся и обнаружил, что меня доставили

сюда в моем "фольксвагене", который стоял на обочине дороги. Я отполз по берегу озера подальше от машины и встал в тени моста. Проверять показания счетчика сейчас было бесполезно, я плохо соображал и

не взглянул на него, когда ко мне подсел человек и заявил, что дальше машину поведет он. Но даже если бы я и запомнил цифры на счетчике, сейчас все равно это ничего бы мне не дало: водитель мог сделать любой крюк как на пути в дом, где меня допрашивали, так и при выезде к мосту. Правда, по счетчику можно было бы определить, что дом находится в пределах круга с определенным радиусом, но это могло быть полезным в лесу, а не в Берлине.

Пытаясь согреться, я начал быстро топтаться на месте, но тут же обнаружил, что хромаю, хотя никакой боли в ноге не чувствовал. Оказалось, что на ней нет башмака. Продолжая трястись, как марионетка, которую дергают за нитки, с посиневшими от холода руками, я проковылял под мостом и вдоль берега пробрался на другую сторону...

Ром спас жизнь многим, и сейчас спас мне: я почувствовал, как он согревает. Придя в бар, я сказал кельнеру, что оступился и упал в озеро, но он не поверил, так как я был трезв. Ноги у него, к сожалению, были меньше моих, иначе я предложил бы ему продать мне ботинки.

Прошло еще некоторое время, и меня перестало трясти. Из карманов у меня ничего не взяли.

— Мне нужно такси.

Кельнер сейчас же вызвал такси по телефону.

Увидев меня, таксист насторожился и даже посмотрел на свет банкноту, которую я ему протянул.

— Деньги не фальшивые, — сказал я, — но их нужно просушить: я упал в воду. Купите мне ботинки, хорошо?

Водитель отвез меня на стоянку такси, о чем-то пошептался со своими коллегами, ушел и вскоре принес ботинки. Я вышел из машины и часа два быстро ходил, чтобы восстановить кровообращение, от Грюневальда до Сименштадта и обратно, а потом направился на юг, к Вильмерсдорфу; слезки за мной не было.

Прошли сутки, прежде чем я сообразил, что неправильно оценив отсутствие слезки, я и рассуждал неправильно, и это поставило меня в опасное положение. Правда, в ту ночь я заставил себя противостоять воздействию амитал-натрия, или пентотала, бензодрина (или чего-то аналогичного), выдержал допрос с пристрастием, выслушивал угрозы о неизбежности своей смерти, перенес купание в ледяной воде и шок возвращающейся жизни. Это объясняет мою неспособность понять причины отсутствия слезки во время прогулки до Сименштадта — тогда я еще не был в состоянии здраво размышлять. Однако это только объясняет, но не оправдывает — для неосторожности оправданий нет и не может быть. Мне, безусловно, следовало бы дожидаться до тех пор, пока мои мысли полностью прояснятся, и только после этого принимать решения, однако я поступил иначе.

Гостиница называлась "Центральная", и я снял в ней номер, так как вопреки названию она затерялась в лабиринте маленьких улиц Мариендорфа, километрах в восьми к югу от Вильмерсдорфа. Гостиница была меньше отеля "Принц Иоганн" и содержалась куда хуже: заспанный администратор с всклокоченными волосами, пыль на абажурах и лампочках. Тем не менее меня это устраивало — вполне возможно, что мне в течение некоторого времени предстояло числиться в покойниках, во всяком случае официально.

Администратор не обратил внимания даже на мой все еще влажный костюм. Отвечая на вопрос, он подтвердил, что гостиница может сдать мне в аренду и стоянку для машины — отдельный отсек в общем гараже. Я сказал, что сейчас устал, оставлю свой багаж на ночь в машине и привезу его завтра утром. Администратор даже не потрудился узнать, где я поставил машину, чтобы он мог присматривать за ней. Я сообщил ему, что немедленно лягу спать, но на самом деле, придя в номер, закрыл на ключ дверь, разделся, принял душ и разложил одежду для просушки около батарей отопления. Небольшой номер был чистым и теплым и, уж во всяком случае, более подходящим местом отдыха, чем пустынный и холодный берег озера.

Я не мог позволить себе сейчас же уснуть, поскольку снова должен был тщательно разобраться в создавшейся обстановке.

Передачу последнего биржевого бюллетеня "Евросаундом" я пропустил — нацисты схватили меня, как раз когда я ехал в отель "Принц Иоганн", чтобы послушать ее. Вполне вероятно, что никаких важных указаний резидентуры в ней и не содержалось. Мне тоже, по существу, сообщать было нечего. Конечно, я мог бы назвать специалиста по психоанализу доктора Фабиана, работники резидентуры легко нашли бы его по телефонному справочнику Берлина (в вечной войне разведок каждая сторона тратит много времени на "боксирование с тенями", часто упуская из виду, что иногда нужного человека можно найти, просто придя к нему домой, вместо того, чтобы заставлять всю свою агентуру его искать) и могли бы даже передать материалы о нем следственным органам. Вероятно, комиссию "Зет" можно было бы убедить арестовать Фабиана и судить его как военного преступника. Он принадлежал к организации "Феникс", был явно очень близок ее руководству, и, несомненно, в его карьере в военное время нашлось бы достаточно материалов для его осуждения. Однако мне, возможно, еще удастся использовать Фабиана для того, чтобы

добраться вначале до Октобера, а потом и до моего основного объекта — Гейнриха Цоссена.

Подтащив к кровати мягкое кресло, я устроился поудобнее и попытался понять, почему нацисты не убили меня.

Предположение первое: в соответствии с распоряжением Октобера охранники привезли меня на мост, вытащили из машины и уже готовились сбросить в воду, когда в последнюю минуту кто-то, возможно полицейский патруль, спугнул их. Опасаясь стрелять или втаскивать обратно в машину, они просто решили сбросить меня в воду живым, хотя рисковали тем, что шум падения мог быть услышан. (Но в таком варианте все же остается неясным, почему Октобер выбрал именно Грюневальдский мост, ведь есть же сколько угодно более уединенных мест.) Таким образом, фашисты выполнили данное им распоряжение

только частично, но доложили шефу, что его приказ выполнен полностью, надеясь, что, все еще находясь под влиянием наркотика, я утону, не приходя в сознание. Конечно, они не доложат, как все произошло на самом деле, ибо в подобном случае Октобер спустит с них шкуру.

Выводы из предположения номер один: Октобер считает меня мертвым: исполнители его приказа тоже в этом уверены. Следовательно, вопрос обо мне для нацистов исчерпан, и никакой слежки быть не может. Подтверждение: никто не следил за мной от озера до бара или на маршруте Грюневальд — Сименштадт — Вильмерсдорф. Если наблюдение было, я его заметил бы.

Предположение второе: Октобер пытается заставить меня думать так, как ему выгодно. Ему хочется заставить меня считать, что, по его мнению, я мертв, изменить применявшуюся мною до сих пор тактику и привести его к моей резидентуре. Поэтому он приказал своим подручным симулировать мое убийство; они окунули меня в озеро, а затем бросили на берегу, чтобы создать впечатление, будто я сам выбрался из воды и вновь потерял сознание. При такой версии я, очевидно, должен думать, что охранники не смогли пристрелить меня (по тем же причинам, что и в первом предположении, — им помешали), или же, оказавшись живым, настолько обрадоваться, что даже не задаваться вопросом, почему вообще так произошло.

Возражение: для того, чтобы узнать через меня местонахождение нашей резидентуры, Октобер поставил бы за мной тщательное наблюдение, но его не было. Кроме того, по-прежнему остается без ответа вопрос: почему все-таки был выбран именно Грюневальдский мост?

Предположение третье: Октобер мог пригрозить мне смертью, надеясь, что колья скоро наркотика на меня не подействовали, возможно, повлияет страх. Человек хитрый и осведомленный о моей подпольной работе в нацистских лагерях смерти, он понимал, что откровенные угрозы меня не устроят. Он подошел ко мне гусиным шагом, остановился в позе, характерной для фашистского палача, и типичным для гитлеровца напыщенным тоном объявил, что я напрасно потратил его драгоценное время. Отдавая своим людям соответствующее распоряжение, он не повысил голоса, зная, что я его услышу и поверю в вынесение им смертного приговора. Мужество и страх выражаются в разнообразных формах. Человек, бесстрашно карабкающийся на отвесную скалу, может струсить при виде змеи; человек, спокойно перенесший яростный шторм в море, падает в обморок при виде крови. Октобер мог полагать, что безоружный человек, не побоявшийся схватиться с пятью вооруженными охранниками, может струсить, оказавшись связанным и вынужденным выслушивать деловито перечисляемые детали своей предстоящей смерти.

Таким образом, и в этом варианте предполагалось, что я должен буду заговорить, чтобы спастись.

Нацистам не удалось этого добиться, но признать предо мною неудачу они не могли, поэтому разыграли целый спектакль: применение наркотиков, похищение вместе с машиной, вывоз на мост. Мне следовало понять, что Октобер твердо держит свое слово. (И при такой версии я, очевидно, должен был рассуждать, как в предположении номер один, а именно: быть глубоко убежденным, что нацисты намеревались

ликвидировать меня и только случайность помешала этому.)

Возражение: и в этом варианте за мной следовал бы "хвост" от озера. Вместе с тем я теперь отвечал на свой вопрос о том, почему Октобер выбрал именно Грюневальдский мост и произнес название так, чтобы я это обязательно расслышал. Он хотел напомнить мне о смерти Кеннета Линдсея Джоунса, найденного мертвым в этом же озере. Для всех трех предположений общими были только два основных факта. Первое: я пока еще жив. Второе: за мной нет слежки. Первый факт объяснялся всеми предположениями, а второй был объясним только в первом.

Светло-лиловые обои на стене с рисунком в виде решетки поплыли у меня перед глазами, и я с огромным трудом сдерживался, чтобы не уснуть. Так или иначе, мне придется здесь переночевать. Второе предположение — привлекательно, и его можно объединить с третьим: фашисты пытались угрозами и страхом заставить меня заговорить, а убедившись в неудаче, бросили у моста, рассчитывая, что я приведу их к резидентуре; однако в этом случае они должны были бы следить за мной, чего не произошло; в таком случае обе версии отпадают, и они в самом деле считают меня мертвым.

Лиловая решетка стала ярче, а затем поблекла. Мне пришлось подняться, чтобы убедиться, закрыл ли я дверь на ключ. Я не сделал этого раньше, что было еще одним доказательством смертельной усталости. Утром я первым делом позвонил в полицию и сообщил, что около Грюневальдского моста стоит кем-то брошенный "фольксваген". (Если по каким-то причинам люди "Феникса" держат машину под наблюдением, они убедятся, что она взята полицейскими, а не мной. Я для них — мертв.)

В гостинице "Центральная" я оставил купленные мною зубную щетку, бритву, две сорочки и носки и отправился в бюро по прокату автомашин, где дождался обеденного перерыва с тем, чтобы дежурного временно заменила девушка-клерк, не видевшая меня раньше. На этот раз я выбрал закрытую машину БМВ модели "1500" и, используя свой резервный паспорт номер три, взял ее на фамилию Шульце. Трудно было допустить, чтобы люди "Феникса" установили факт аренды мною машины именно на это имя. Затем ленч в гостинице — совсем по-туристски, новенький саквояж в номере и машина в индивидуальном отсеке гаража.

Потом начался мой полдень. Даже в самом слове "полдень" содержится какая-то невинность. Утро явно предназначается для поездок, работы и похмелья, ночь для любви и краж, а полдень обязательно отождествляется с безмятежностью и спокойствием, наступающими после озабоченности или тревоги и драмы. В Берлине это время для булочек с кремом в переполненных даже зимой кафе. Но в том же Берлине под этой внешне безмятежной поверхностью несетя мощное течение чернее самого ада, затягивающее людей вопреки их воле в мрачные омуты. Именно к таким людям я и принадлежал. Меня влекло на север, в Вильмердсдорф, и мне в голову даже не приходило сопротивляться этому стремлению.

14. ВЛЕЧЕНИЕ

Инга приготовила китайский чай и подала его с кусочками апельсиновой корки в маленьких черных чашках; мы пили его, стоя на коленях, словно совершая какой-то обряд. Иногда она двигалась лишь для того, чтобы я посмотрел на нее, так как знала, что мне это нравится.

Светило солнце, и луч, пробравшись через окно, позолотил шапку ее волос. В квартире стояла полная тишина,

— Иногда я сразу могу узнать человека, который убивал других. Мне известно, что вы это делали.

— Да.

— Я хочу сказать — не на войне, а в другое время.

— Я так и понял.

— Какое у вас возникало ощущение?

— Отвратительное.

— И никаких острых переживаний?

— Я никогда не делал этого ради острых переживаний. Вопрос всегда стоял так: или я, или мой противник.

У меня мелькнула мысль, что, наверное, и в Нейесштадтхалле она пошла потому, что хотела посмотреть на убийц.

Мы умолкли и снова пили чай, наслаждаясь тишиной невинного полдня.

Она попыталась расспросить меня о лагерях смерти, но я ничего ей не рассказал. Потом она заговорила о последнем убежище своего фюрера.

Чашки оказались пусты; Инга вздрогнула, но это было так незаметно, что ее выдало лишь едва слышное позвякивание золотой цепочки-браслета на руке. Не ожидая от меня никаких слов, она встала, и лучи зимнего солнца отбросили ее тень на стену; потом она вышла в другую комнату и вскоре вернулась нагая...

Внутренний голос твердил: "Уходи, Квиллер, уходи!", но я оставался, пока на улице не зажглись фонари и комната не наполнилась их светом. Пройдя в ванную, я взглянул в зеркало на свое лицо и убедился, что оно не изменилось, хотя иногда мы опасаемся, что перенесенные испытания меняют его выражение. Послышался приглушенный звонок, и Инга кому-то открыла дверь. Завязав и поправив галстук, я вышел в гостиную, увидел там Октобера и сразу же понял, что начиная с того момента, как я пришел в сознание у Грюневальдского моста, все рассуждения, приведшие меня сюда, были ошибочными. Под воздействием наркотика в бреду я сообщил Фабиану и Октоберу имя "Инга". В Берлине тысячи Инг, однако они знали, о какой именно идет речь и от кого я услышал слово "Феникс" ("Фениксы? Феникс — да. Как вы узнали о "Фениксе"?").

Разговор между Фабианом и Октобером, ведшийся неразборчивым для меня шепотом, теперь мне был понятен, словно я слышал каждое его слово.

Фабиан: Так мы ничего от него не добьемся. Октобер: В таком случае мы подвергнем его специальной обработке.

— В этом нет необходимости, и не исключено, что вы вообще потеряете его. Кроме того, он может оказаться в таком состоянии, что ничего связного и осмысленного не сможет сказать, а сохранить его для использования в дальнейшем уже будет невозможно.

— В таком случае посоветуйте, что делать.

— Я заметил вашу реакцию при упоминании имени "Инга". Вы явно знаете ее. Кто она?

— Перебежчица.

— Ее можно найти?

— Да.

— Давайте отпустим его к ней.

— Но он может не пойти туда.

— Нет, пойдет. Вы же слышали, что он говорил о ней в бреду. Он хотел бы овладеть ею, и мы можем усилить его желание для того, чтобы он наверняка направился к ней. Вы заметили, как он боится смерти и без конца твердит о Кеннете Линдсее Джоунсе и Соломоне Ротштейне? Мы сыграем на этом страхе. Ему следует сообщить, что его скоро убьют, и сделать это убедительно. Потом мы дадим ему возможность жить, и пусть он испытает связанный с этим шок. С возвращением жизни он почувствует непреодолимое влечение к Инге и отправится прямо к ней.

— Я в этом не убежден.

— Вы должны верить мне на слово. Я изучал эти явления в человеческой психике во время войны.

В госпиталях среди тяжелораненых отмечался высокий процент смертных случаев в течение ночи, спустя всего лишь несколько часов после того, как им сообщалось, что операция прошла успешно и они будут жить. Работая в лагерях Дахау и Нацвейлер, я выработал исключительно успешную тактику допросов. Мы объявляли заключенному, что он приговорен к смерти, в течение трех суток держали в ежеминутном ожидании исполнения приговора, а затем приводили на виселицу и надевали петлю на шею. В самую последнюю минуту приговор отменялся и объект помещали в отдельную камеру с опытным агентом — как правило, молодой интересной женщиной, которая не отдавалась ему до тех пор, пока он не рассказывал

ей все, нас интересующее. Таким путем мы всегда узнавали значительно больше, чем с помощью пыток, хотя подобный метод применялся лишь к заключенным, которые были готовы умереть, не произнеся ни слова.

— Вы считаете, что и этот поведет себя так же?

— Возможно. Во всяком случае, я обещаю вам, что не больше чем через несколько часов он отправится к этой Инге. Видимо, он влюблен в нее.

Итак, все мои рассуждения оказались ошибочными; я исходил из того факта, что за мной не следили.

А в слежке не было необходимости — нацисты знали, где меня найти. Но сейчас они ничего со мной не смогут сделать, ничего!

Октобер стоял посередине комнаты, с ним были еще трое. Один стоял, прислонившись спиной к двери, через которую они вошли, второй охранял дверь в спальню Инги, а третий оказался позади меня, отрезая выход в ванную. Окна оставались не прикрытыми; да это и не имело смысла — Инга жила высоко. Ни у кого из них оружия я не видел, но, несомненно, они были вооружены. У нас с Октобером существовало молчаливое соглашение о неприменении оружия; я знал, что моя жизнь будет сохраняться нацистами, пока я не сообщу им того, что они хотят. Разумеется, бежать отсюда было невозможно, а вступать в схватку я не мог; судя по виду, каждый из них был значительно сильнее меня.

Я взглянул на Ингу. Свой страх она проявила характерным для нее путем — с примесью какой-то радости, но тем не менее это был страх. Она прекрасно знала, кто эти люди и что такое "Феникс".

Я дождался, пока Инга взглянет на меня, и, как только она это сделала, поднял и тут же опустил глаза, давая ей понять, что сейчас ничего предпринимать не следует. Я поступил так, поскольку если бы она и успела позвать свою овчарку и та смогла бы вначале разбить стекло двери с чердака в спальню, а потом открыть дверь из спальни сюда, здесь все равно нацисты пристрелили бы собаку.

— Вы не должны были покидать нас, — между тем заговорил Октябрь, обращаясь к Инге, — и тем более общаться с врагом. Что вы ему рассказали?

— Ничего, — вмешался я. Октябрь даже не взглянул на меня.

— А что он вам рассказал?

— Он не враг, — ответила Инга, и звенья ее цепочки-браслета, освещаемые светом китайской лампы в виде луны, дрогнули. — Он работает для Красного Креста.

Не обращая внимания на это утверждение, Октябрь наконец обернулся ко мне.

— Вам обстановка понятна, — заявил он. — Сейчас мы ничего с вами делать не намерены. Но наступит время, когда ваши нервы не выдержат и вы, конечно, ответите на все мои вопросы. Может быть, во избежание напрасных мучений и пустой траты времени вы сейчас же сделаете необходимые выводы из создавшегося положения?

Я почувствовал нервный тик левого века.

— Задавайте вопросы, — заявил я. — Только перечислите их все сразу, чтобы я мог подумать.

Возможно, мы еще придем к соглашению.

Таким образом я намеревался допросить его, хотя и знал, что он это понимает. Задавая мне тот или иной вопрос, Октябрь раскрывал бы передо мной, что он знает обо мне, а что нет, сообщая тем самым ценную информацию. Мы оба понимали, что он не может отказаться от этого — отказ свидетельствовал бы о его неуверенности относительно того, кто хозяин положения. Октябрь во что бы то ни стало был обязан убедить меня, не только в том, что именно он является этим хозяином, но и в том, что всякая сообщенная им информация для меня бесполезна, — меня убьют, прежде чем я смогу передать ее своей разведке. И все же он затруднялся принять окончательное решение. Предположим, он согласится с моей просьбой и сформулирует свои вопросы. Пойму ли я это как свидетельство его полнейшей уверенности в себе или же как заведомое фальшивое доказательство той самоуверенности, которой он на деле вовсе не ощущает?

Я не сводил с него глаз, и он делал то же самое. Обстановка была совершенно ясной: он не мог отпустить меня живым и не мог убить, пока я не отвечу на его вопросы. Во время допроса под наркозом мне почти не задавали прямых вопросов. Все вертелось вокруг того, что я им уже сказал: Лас Рамблас, контейнер и т. д. Из основных вопросов прямо мне задали только один: "Почему вы остались в Берлине?" Это произошло после того, как Октябрь обнаружил, что воздействие наркотика окончилось; он спросил меня об этом в отчаянии и с впервые появившейся в его голосе ноткой раздражения. Теперь же Октоберу придется ставить только прямые вопросы и тем самым раскрыть, что ему известно, а что нет.

— Вы сейчас не в таком положении, чтобы ставить условия, — заявил он наконец.

— Я жду.

Продолжая наблюдать за мной, Инга пошевелилась и прислонилась к стене. Знала ли она о том, что произойдет дальше? Должна была бы знать. Она побывала в Нейесштадтхалле, и ей уже следовало приобрести опыт в таких делах.

— Какое задание вы имеете от своей разведки? — внезапно заговорил Октябрь. — Выявлять так называемых военных преступников для предания суду? Почему вы начали работать без прикрытия? Какую информацию вам хотел передать Ротштейн, если бы мы не помешали ему? Какие точно задачи поставлены перед вами? Вот и все.

Октябрь разочаровал меня; он хорошо знал, что, начав допрашивать, только на этом остановиться не сможет. Например, он должен будет попытаться узнать адрес нашей берлинской резидентуры, какую именно информацию успел передать туда до своей смерти Кеннет Линдсей Джоунс, имена... и много других подобных сведений.

— Не валяйте дурака, — посоветовал я. В серых глазах Октобера ничего не отразилось, и он повторил:

— Вот и все мои вопросы.

Разумеется, я должен был этим довольствоваться, хотя он и сделал вид, что идет мне навстречу. Если у него были и другие вопросы, доказать это я никак не мог. Я упомянул о возможности соглашения, но он был прав — торговаться я не мог.

— Хорошо, отвечаю.

Никакой реакции, он явно не верил мне.

— Во-первых. Мое задание состоит в получении всей возможной информации о "Фениксе" и в немедленной передаче ее нашей разведке.

Ему и так это было известно.

— Во-вторых. Если я смогу выявить скрывающихся военных преступников для предания их суду, мне следует использовать это как средство для достижения цели и для ускорения выполнения основного задания.

Инга опять было пошевелилась, но немедленно насторожился охранявший ее нацист, и она замерла.

— В-третьих я начал работать без прикрытия потому, что предпочитаю так действовать.

Прикрывающие иногда лишь увеличивают опасность для того, кого они должны прикрывать. Я попросил предоставить мне свободное поле действия, и моя просьба была удовлетворена.

Теперь мне предстояло говорить о том, о чем я надеялся забыть и никогда больше не вспоминать.

— Не знаю, какую информацию передал бы мне доктор Соломон Ротштейн, если бы вы не помешали ему. Думаю, что вы имеете об этом некоторое представление, коль скоро сочли нужным вмешаться ("Будьте вы прокляты!"). И последнее. Моя основная и главная задача состоит в том, чтобы узнать точно, кто именно глава организации "Феникс", и поступить с ним так, как я найду нужным.

Октобер не сводил с меня остекленевших глаз, и я сделал то же самое.

— Каким образом вам стало известно само название "Феникс"?

— У вас огромная организация, и долго скрывать это невозможно.

— Это она вам сообщила?

— Кто? — переспросил я просто потому, что мне не понравился его тон.

— Эта особа.

— Фрейлейн Линдт вряд ли настолько глупа, чтобы откровенничать с посторонними лицами, а мы с ней едва знакомы.

— Кто же "глава" этой так называемой организации?

— Не знаю. Мне известно только ваше имя.

— Местонахождение вашей резидентуры в Берлине?

— Мы договорились, что я отвечу только на вопросы, которые вы зададите одновременно.

— Отведите ее в соседнюю комнату и оставьте дверь открытой, — приказал Октобер человеку, стоявшему около Инги.

Как я и предполагал, из моей попытки "договориться" ничего не вышло, и это свидетельствовало о начале конца.

Не дожидаясь, пока охранник поведет ее, Инга направилась в спальню и, проходя мимо, взглянула мне в лицо.

Охранник раскрыл перед ней дверь.

— Ничего вы этим не добьетесь, — сказал я Октоберу.

— Приступайте! — приказал он.

Я понимал, что Октобер не сделал бы так, если бы Фабиан не убедил его в характере моего чувства к Инге. Он хотел подвергнуть меня сильнейшему давлению, со стоящему одновременно из жалости к женщине, испытывающей боль, и из ярости мужчины, подруга которого подвергается пытке.

— Дело обстоит так, — заговорил я и дождался, чтобы Октобер посмотрел на меня. — Если я не выдержу того, что вы намерены сейчас начать, и заговорю, остановиться на полпути окажется невозможным. Мне придется рассказать все, и это очевидно. Начав говорить, я должен буду предать всю свою резидентуру, сообщить вам ее местонахождение, личный состав, систему связи с Центром и агентурой и т. д. Неужели вы хоть на мгновение думаете, что я так поступлю! — Пот выступил у меня на лице, и внимательно наблюдавший за мной Октобер, конечно, видел это. Организм мог выдать меня, и я должен был, прикрывая эту слабость, что-то сказать, и сказать убедительно. — Подобно врачам, мы не можем руководствоваться жалостью; жалость в нашем деле непозволительная роскошь, мешающая работе. Вы это понимаете и должны знать, что таким путем ничего не добьетесь. Говорить я не буду. Слышите — не буду! Я не скажу ни слова! Повторяю, ни слова! Делайте с ней, что хотите, убивайте ее, мучайте у меня на глазах — все равно от меня вы не услышите ни единого слова! Убедившись в бесполезности всего этого, вы можете то же самое проделать со мной. Все равно вы ничего не добьетесь. — Включите все лампы, — распорядился Октобер, обращаясь к человеку, находившемуся с Ингой в спальне.

На стене появились слабые тени. В комнате, где был я, лишь тускло горела китайская лампа. В спальне было светлее. Я увидел тень человека, склоняющегося над кроватью.

— Действуйте, — снова приказал Октобер. "Ну, вот, наконец, она прибыла в лагерь смерти, — подумал я, — и теперь узнает обо всем на собственном опыте, а не из вторых рук, как до сих пор".

Тень зашевелилась. Я сложил руки на груди и стоял, наблюдая за тенью так, чтобы Октябрь видел это. Он знал также, что я слушаю, так как не спускал с меня глаз.

Мне не удалось убедить его. Однако если бы я и убедил, он все равно, хотя бы ради садистского удовольствия, осуществил то, что хотел, так как явно был одним из маньяков, наслаждающихся видом крови.

Мне следовало бы что-нибудь сказать Инге, но что?! Тени внезапно зашевелились; и человек, и Инга вскрикнули, он выпрямился и поднял руку к лицу, на котором, по-видимому, выступила кровь от царапин, сделанных ногтями Инги. В спальне, несмотря на наличие шелковых простыней, толстого ковра и декоративных ламп, были джунгли.

Я продолжал наблюдать за теньями, так как этого хотел Октябрь. Во время войны на голландской границе находился концлагерь, который я хорошо запомнил. В нем была виселица, прикрытая старой скатертью (в моей памяти сохранилось полукруглое пятно от некогда пролитой рюмки вина), повешенной на палку от половой щетки так, чтобы смертники, стоявшие в очередь, могли наблюдать, как дергается веревка над занавеской и вздрагивают ноги ниже ее. Как правило, воображение оказывалось действеннее всего происходившего. Нацисты прекрасно понимали это и применяли такую пытку с садистским удовольствием.

У всех гитлеровцев, с которыми мне приходилось встречаться, можно было наблюдать свойственные только этой породе маньяков особенности: как они стояли, заложив за спину руки, чтобы объявить о неминуемой смерти слабым и безоружным; как быстро, подобно гимназисткам, могли напускать на себя обиженный вид и напыщенно заявлять и "непростительности" чего-то: как частично показывали вам что-то ужасное с тем, чтобы с помощью воображения вы сами довели себя до сумасшествия. Именно поэтому меня и заставили наблюдать только за теньями, не давая увидеть то, что происходило в спальне.

— Не нужно! — послышался крик Инги.

Кровь отхлынула у меня от лица; прошло еще некоторое время, прежде чем я определил характер донесшегося до меня звука, — щелкнули наручники. Инга тихо застонала. Октябрь по-прежнему не сводил с меня взгляда.

В своей работе мы не можем быть джентльменами, однако из соображений конспирации Центр категорически запрещает вовлекать посторонних в наши оперативные дела. Я нарушил это правило и вовлек Ингу, хотя и не намеренно. Тем не менее Центр все равно будет считать, что я сделал это умышленно: я знал, что хотя она и порвала с "Фениксом", но все еще как-то связана с объектом моего поручения, и поэтому мне не следовало с ней встречаться. Я поступил иначе и поэтому теперь обязан предпринять все меры, чтобы попытаться найти выход из создавшегося положения. Я не мог бездействовать, наблюдая, как она сходит с ума от пыток.

Я не видел выхода. У меня не было никакой надежды бежать отсюда, с тем, чтобы нацисты оставили Ингу в покое. Я не мог прийти ей на помощь — на их стороне численное преимущество. То, что я мог сообщить Октоберу ради спасения Инги, повело бы к смерти моих коллег и сорвало бы выполнение нашей теперешней задачи.

Впервые за свою карьеру я почувствовал сожаление, что не люблю держать при себе что-нибудь из того, чем обычно обеспечивают себя другие разведчики, — револьвер, ампулу с мгновенно действующим ядом и всякое такое. Хотя ампула была бы сейчас естественным выходом из положения. Всего лишь через пять секунд Октябрь убедился бы в том, что пытки Инги не заставили меня заговорить.

Тени снова зашевелились. Я услышал, как Инга прохрипела что-то вроде "прошу...": я понимал, что она обращается ко мне, а не к ним, все еще надеясь, что я ей помогу. Наблюдая за мной, Октябрь приказал:

— Продолжайте!

Инга снова попыталась что-то крикнуть, и я прибег к единственному выходу, содержавшему хоть какую-то надежду.

15. ОБМОРОК

Я искусственно вызвал у себя настоящий обморок. Уже теряя сознание, я видел, как Октябрь бросился вперед, чтобы не дать мне упасть. Вероятно, он сделал это инстинктивно. Я успел подумать, что он, вероятно, ничего не знает о механизме обморока, иначе не пытался бы поддержать меня. Дело в том, что обморок проходит значительно быстрее, когда человек лежит, и поэтому удерживать меня от падения не следовало.

Все психологические и физиологические факторы говорили в мою пользу. Правда, Октябрь не разобрался в фактическом функционировании механизма потери сознания, но не мог не понимать, что я, вероятно, был готов к этому в результате сильного волнения.

Определенный психологический фактор действовал и на самого Октобера — обморок обычно

считается признаком слабости, хотя в действительности это не так (здоровенные английские гвардейцы часто падают в обморок во время ежедневной церемонии "Встреча знамени" у Букингемского дворца в Лондоне. А ведь к числу слабеньких их вовсе нельзя отнести. Долгое пребывание на ногах — одна из наиболее характерных причин потери сознания). Бывает же так, что мы предпочитаем верить тому, что нас по той или иной причине устраивает, хотя доказательства противного значительно сильнее. В случае со мной Октябрь должен был исходить из двух предположений. Первое: обморок не был настоящим, и я его инсценировал, когда отчаянно искал выход из создавшегося положения. Второе: я потерял сознание из-за своей слабости. Первое предположение заслуживало большего внимания — разведчики, оказываясь в трудном положении, так скоро не падают в обморок; они заранее готовятся действовать именно во время кризисов, ради этого живут и иногда умирают, а если не обладают такой способностью — должны уходить в отставку и разводить кроликов. Однако Октябрь, несомненно, поверит второму объяснению, которое его лично устраивает больше.

Физические факторы также говорили в мою пользу, они лишь подкрепляли предположение, что обморок — настоящий. В комнате было очень душно. Лицо у меня покрылось потом, и я тяжело дышал, что, как правило, всегда предшествует потере сознания.

Таким образом, психологически и физически я подготовил себя к обмороку, а Октябрь был готов поверить в проявление слабости с моей стороны. Я считал очень существенным не только вызвать симптомы, свидетельствующие о неизбежности обморока, но и убедительно доказать, что действительно потерял сознание, и это мне удалось.

Обморок продолжался, видимо, секунд десять-пятнадцать, а затем сознание стало медленно возвращаться ко мне. До меня донеслись голоса... какое-то восклицание Инги, шум воды... вспышка света... звук пощечины, которую мне нанес Октябрь... мои стоны... ощущение воды, которую плеснули в лицо. Сознание полностью возвратилось ко мне, но я, продолжая симулировать обморок, безвольно висел у них на руках, хотя они энергично пытались привести меня в чувство. Потом нацисты все же выпустили меня, и я повалился на пол; спустя несколько минут якобы с большим трудом поднялся на четвереньки и, трясая головой, чтобы вернуть ясность мысли, открыл глаза и принялся тихо и монотонно бормотать: "... продолжайте ее мучить... жгите ее... вы не добьетесь ни слова, ни слова..."

Дверь в спальню была закрыта, но в моей комнате по-прежнему было тихо. Я повернул голову и попытался разобраться, что происходит. У входной двери все еще стоял человек, но Октября в комнате не было. Куда он ушел? Позади меня тоже кто-то стоял, я видел его ботинок. "Ни единого слова!" — повторял я, обращаясь к этому ботинку. С моего лица стекала вода.

Никто в комнате не пошевелился, молчание продолжалось. Я встал, покачиваясь, сунул руку в карман, вытащил носовой платок и вытер лицо. Охранник у двери быстро выхватил револьвер, однако сделал это инстинктивно — он знал, что я безоружен. Открылась дверь в спальню, и до меня донеслись рыдания Инги. На стене появилась чья-то тень, я увидел, как поднимается рука. Потом кто-то с силой ударил меня по затылку ребром ладони, и, как подкошенный, снова теряя сознание, я упал...

Медленно приходя в себя и все еще плохо соображая, я не ориентировался во времени, но, видимо, без сознания находился недолго. Я лежал на ковре. Было по-прежнему тихо, и тишину нарушали лишь всхлипывания Инги. Я приподнялся на четвереньки, а затем встал. Все поплыло у меня перед глазами, и я вытянул руку, чтобы за что-нибудь ухватиться.

Я осмотрелся. В комнате никого не было. Сильно болел затылок. Я с трудом все же добрался до спальни. Инга лежала скорчившись на кровати, и на ее обнаженных ногах была кровь. Я сейчас же вернулся в комнату и позвонил врачу.

В спальне я погасил все большие лампы, встал на колени и взял в руки лицо Инги. Беспокойство не за Ингу, а за себя вдруг охватило меня, потому что нацисты ушли, хотя ничего от меня не добились.

— Сейчас приедет врач, — сообщил я Инге. Я все еще держал в руках ее лицо, она кивнула, продолжая тихо вздрагивать.

— Я должен покинуть тебя, Инга. Если они вернуться и застанут меня здесь, все начнется вновь.

Инга молчала, но я уже понимал, почему она не просит меня остаться. Я решил позднее основательно все обдумать и разобраться, что все это значит. Сейчас же я мог действовать, руководствуясь лишь поверхностным первым впечатлением.

Я взял с туалетного столика бумажную салфетку, нацарапал на ней номер телефона и сказал:

— Если ты захочешь что-нибудь сообщить мне, всегда можешь сообщить вот по этому телефону. —

Я набросил халат ей на плечи, обнял, и так мы просидели до прихода врача.

Доктор прежде всего спросил, что со мной произошло, и я только тут сообразил, что на моем лице, несомненно, заметны последствия обморока и полученного удара — следы пота, бледность, налитые кровью глаза. Я ответил, что помощь требуется не мне, провел его в спальню и ушел.

Улица была ярко освещена. Невинный полдень кончился, и наступил вечер. Я еще успел послушать радиопередачу "Биржевого бюллетеня". "Квота Фрейт 132 плюс 3/4" означало: "От вас нет сообщений подтвердите прием дайте знать если оказались в трудном положении — Система РТ".

Мое руководство раскудахталось, словно курица, и мне это не понравилось. С помощью Хенгеля или Брэнда, а может быть, еще кого-либо из тех, кто от нечего делать наблюдал за мной, в резидентуре стало известно о моем столкновении с "Фениксом", и теперь там интересовались результатами. Мои руководители тревожились не обо мне, а о том, не заставили ли меня проболтаться, в результате чего нам бы грозил серьезный провал.

Вот поэтому мне и пришлось заняться прилежным выполнением "домашнего задания". В донесении на трех страницах я между прочим писал:

"...Сомнительно, чтобы Ротштейн находился в контакте с кем-то или на кого-то работал. Видимо, он действовал по собственной инициативе, желая отомстить за смерть жены. По всей вероятности, коробка оснащена механизмом для взрыва, который сработает, если ее неправильно открывать..."

Если бы смерть Солли произошла не по моей вине, я обратился бы к комиссии "Зет" с просьбой открыть коробку; я был довольно твердо уверен, что содержащиеся в ней материалы привели бы меня к Цоссену. Сейчас же я не желал даже поднимать этого вопроса.

"...Люди "Феникса" активно занимаются мной. Несомненно, что "Феникс" очень многое хотел бы удержать в тайне, а его руководители крайне заинтересованы в том, чтобы выяснить, что именно я знаю. А я еще ничего не знаю..."

Я вставил эту фразу, для того, чтобы задеть начальство. Ведь после нашей встречи с Полем прошло всего пять дней, а от меня требуют отчет.

"...Мне не совсем понятно ваше распоряжение о представлении сообщения, поскольку времени прошло еще слишком мало. Вы, очевидно, получаете какую-то информацию обо мне?"

Этим самым я хотел сказать руководителям резидентуры, чтобы они отозвали Хенгеля, Брэнда и других оттуда, где мне поручено работать. Обо мне кто-то докладывал: возможно, что Центр направил сюда другого работника с параллельным заданием, и он, пытаясь проникнуть в организацию "Феникс", узнал и доложил, что я попал в трудное положение.

"...Я вынужден обратиться с убедительной просьбой не требовать от меня донесений и не вмешиваться до тех пор, пока вы не будете располагать точной информацией о том, что я действительно в трудном положении. В таком случае я найду возможность доложить вам без всяких напоминаний. К."

Было 9.07, и я почувствовал, что мною начинает овладевать депрессия. Я не мог забыть крови на ногах Инги и неожиданного для меня ухода Октобера. Как это ни парадоксально, но я терпеть не могу такого положения, когда противник находится в нерешительности и замешательстве, поскольку за этим всегда следует период поисков правильной, с его точки зрения, позиции и он ведет себя, как обезумевший бык, бросающийся из стороны в сторону, лишая вас возможности предугадать его следующий шаг, что лишь усиливает опасность.

Мне потребовалось около часа для того, чтобы основательно продумать все события этого "невинного" полдня и сделать соответствующие выводы. Прежде всего я пришел к заключению, что, когда я начал поиски Цоссена, мне в течение первых же пяти дней пришлось дважды переходить к обороне, а вся

добытая за это время информация состояла лишь из нескольких новых для меня фамилий. Я обязан был как можно скорее перейти в наступление: лишь только Октябрь решит, что я ничего не знаю за исключением того, что мог узнать еще из его и Фабиана вопросов, нацисты немедленно ликвидируют меня, пока мне не удалось добыть какие-либо сведения и передать их в резидентуру.

Однако перед переходом в наступление мне предстояло провести исключительно важную проверку, и сделать это я должен был немедленно.

Расстояние составляло всего около трех километров, тротуары начали подсыхать, и, оставив БМВ в гараже, я отправился пешком. Уже минут через пять я обнаружил за собой "хвост" и медленно повел его по Гильдбурггаузерш трассе. Я поступил так потому, что не ожидал за собой слежки, ее появление несколько озадачило меня, и мне нужно было подумать.

После некоторого размышления я решил отделаться от филера. Правда, иногда "хвост" бывает полезен, но сейчас поступить иначе я не мог. Никто не следил за мной, начиная с той времени, как я очнулся у Грюневальдского моста, и до прихода на квартиру к Инге — нацисты хорошо знали, что найдут меня там. Однако они не знали, что я обосновался в гостинице "Центральная". Понятно, почему за мной следили. Октябрь не желал рисковать и опасался, что я скроюсь; я даже почувствовал известное удовлетворение, ведь это свидетельствовало о том, как он беспокоится.

Теперь-то фашистам уже известно, что я живу в "Центральной" — "хвост" следил за мной оттуда.

Меня это нисколько не тревожило, так как я не мог перейти в наступление, не раскрыв своего нового адреса, — для установления контакта с нацистами я вначале должен был дать им знать, где они могут найти меня.

Однако, как я уже сказал, мне предстояло провести весьма важную проверку и сделать это без "хвоста", то есть обязательно отделаться от наблюдения.

"Хвост" оказался первоклассным, и потребовалось не меньше часа, чтобы "потерять" его. Выявление разведчиком слежки за собой и "отрыв" от нее, к сожалению, составляют обязательный и скучный элемент всякой разведывательной работы. Направляясь на выполнение задания или на конспиративную встречу, разведчик всегда проверяет, не следует ли за ним "хвост", и, если обнаружит его, вынужден терять драгоценное время, чтобы оторваться. В таком городе, как Берлин, опытный разведчик всегда найдет возможность скрыться от наблюдения, если располагает для этого достаточным временем и, конечно, умением. Я терял многих, и многие теряли меня.

Филер, следивший за мной сейчас, оказался хорошим специалистом, и я смог отделаться от него и отправиться по намеченному мною маршруту лишь в южном конце Берлинерштрассе, после того как провел его через четыре гостиницы и дважды по вокзалу Лихтерфельде-Зюд.

Было уже 11.20 вечера, и бар закрывался. Он назывался "Брюннен", и я пришел в него впервые.

Кельнер с бледным, утомленным лицом раздраженно посмотрел на меня из-за ножек только что перевернутого им стула, очевидно обдумывая, как мне отказать, если я попрошу чего-нибудь выпить. Кроме него, здесь находился еще человек, который, стоя на лестнице-стремянке, заводил часы; он даже не видел меня.

Спросив у кельнера дорогу к вокзалу Зюденде, я снова вышел на улицу и вскоре убедился, что наблюдения за мной нет. Я понимал, что в известной степени переживаю сейчас исключительно важный момент своей жизни и карьеры, и наслаждался этим. Чистый ночной воздух наполнял легкие, и, идя по безлюдной улице, я чуть не подпрыгивал. Вслух мои мысли, вероятно, прозвучали бы так:

"Вот ты снова в гуще той работы, которую сам избрал для себя, несмотря на то что можешь погибнуть в любую минуту, хотя бы за следующим углом. Ты полностью поглощен ею и никогда не освободишься от мыслей о ней, за исключением тех немногих минут, когда только что нанес противнику сильный удар, от которого он свалился. Выпей, друг, не исключено, что такой возможности больше не будет..."

Мой рабочий день закончился. В гостиницу я вернулся в полночь и спокойно, как невинный младенец, уснул. На рассвете, когда улицы будут безлюдны, я перехожу в наступление.

16. ШИФР

Мое утреннее наступление не представляло собой ничего сенсационного и начиналось со спокойной прогулки. При выходе из "Центральной" я заметил, что "хвост" уже поджидал меня. Правда, я не видел его, но знал, что он здесь. Улица была застроена жилыми домами, но недалеко от гостиницы, на углу, находился бар, и я знал, что филер должен находиться там, — это было не только самое подходящее, но и единственное место. Он должен был, чтобы не пропустить моего ухода, дежурить именно там — за бело-серыми тюлевыми занавесками.

Я пошел по улице в противоположном направлении от бара, с тем, чтобы выманить его из укрытия и заставить пойти за мной. Должно быть, это не понравилось ему. Тихое, безветренное, раннее утро. На улице никого. На первом участке пути филер шел за мной, проклиная, наверно, все и всех. Мне стоило лишь чуть повернуть голову, чтобы увидеть его. Я направился на север, к центру города, где прохожих было больше.

Я подготавливал несложный трюк, известный у нас под названием "переключение". Дело в том, что почти всегда наблюдение, которое один из разведчиков ведет за другим, приводит к одному из следующих

результатов:

- 1) объект не замечает слежки и приводит "хвост" к цели своего следования (так бывает очень редко. Если профессиональный разведчик не умеет даже обнаружить слежки, ему в разведке вообще делать нечего, и его скоро выгонят);
- 2) разведчик узнает, что за ним ведется наблюдение, но, будучи не в состоянии отвязаться от "хвоста" или не желая почему-то делать этого, ведет его к фиктивной цели, маскируя этим настоящую;
- 3) разведчик обнаруживает "хвост", отрывается от него и уже один следует к месту назначения;
- 4) разведчик не только замечает наблюдение, но вступает в контакт с "хвостом" и требует от него объяснения причин слежки (именно так я поступил с Хенгелем. Правда, в том случае слежку за мной вел не противник, а свой, но сути дела это не меняет. После обнаружения "хвоста" всегда возникает большое желание спросить у него, зачем он это делает, хотя бы для того, чтобы увидеть его замешательство);

5) разведчик не только выявляет "хвост", но сам переходит к слежке за ним, то есть производит так называемое "переключение" и из объекта наблюдения превращается в ведущего наблюдение. К этому трюку мы прибегаем не часто — разведчик обычно занят и свободным временем не располагает. Как правило, он куда-нибудь направляется и не имеет права опаздывать. Однако сейчас я прибегаю к "переключению" по той простой причине, что должен был перейти в наступление и хотел узнать, где находится логово "Феникса". Возможно, оно находилось там, где меня допрашивали под наркозом, но мне в конце концов уже надоело играть пассивную роль. Я поставил задачу вызвать на себя огонь противника, с тем чтобы схватиться с ним, и частично мне это удалось, но я больше не хотел, чтобы меня фаршировали амиталом. Сейчас я хотел найти штаб-квартиру "Феникса", проникнуть туда, добыть необходимую мне информацию и убраться невредимым.

Я мог бы обратиться для этого к двум еще не использованным источникам информации, но не хотел этого делать. Одним из них являлся герметически закрытый контейнер Солли Ротштейна; я был уверен, что в нем содержалась важная информация, которую он передал бы мне, если бы его не застрелили. Несомненно, что с помощью этой информации я сразу же нашел бы центр "Феникса", но мне хотелось добраться туда, не используя даже косвенно смерть друга, убить которого я невольно помог. Другим источником могла быть Инга. Она давно уже покинула организацию, но из-за нашего "невинного полдня" я не мог просить ее сообщить мне все, что она знала о "Фениксе".

До "Феникса" я мог бы добраться единственным путем — нужно было, чтобы человек, ведущий за мной сейчас наблюдение, привел бы меня туда. По существу, это представляло собой единственную цель "переключения".

К девяти часам мне удалось дважды его увидеть. Это был новый человек, и наблюдение он вел не так умело, как тот, который следил за мной накануне. Минут через сорок пять я снова "накол" его недалеко от ресторана Кемпинского на Курфюрстендамм, хотя никакой моей заслуги в этом нет: он чуть не попал под машину, перебегая улицу при красном свете. Прячась друг от друга, мы потратили еще с полчаса, а затем он вбежал в будку телефона-автомата, видимо, для того, чтобы доложить своему начальству о создавшемся положении. Существо полученных им указаний стало очевидным уже минут через десять — он сел в такси и направился к гостинице "Центральная", а за ним я, тоже в такси. Из этого следовало: он потерял меня и поэтому получил распоряжение вернуться туда, откуда начал наблюдение, — единственно известное им место, где меня рано или поздно можно встретить. Мы оба были раздражены, так как впустую потратили утро. Начиная так называемое наступление, я, конечно, не исключал того, что и после "переключения" филер не приведет меня к штаб-квартире "Феникса". Руководила мной вовсе не твердая уверенность, а лишь надежда. Добраться туда иным путем я не мог.

Однако, слежка напоминает вождение машины в том смысле, что, ведя ее механически, опытный разведчик может размышлять о чем угодно. Между Мариендорфом и Курфюрстендамм и обратно я много думал о Солли Ротштейне и делал это основательно, а не так, как раньше, когда под влиянием скоропреходящих эмоций я считал себя виновным в его смерти, убедил себя, что было бы недобросовестно использовать информацию, хранившуюся в оставленном контейнере. Но ведь он стремился к той же самой цели, что и я! Если бы я мог разоблачить неонацистскую организацию "Феникс", это явилось бы мстью и за его смерть, и за смерть его жены, а только ради этого он жил и погиб. Я позвонил капитану Штеттнеру.

— Я давно уже пытаюсь связаться с вами, — сообщил он. — Я не знал, что вы переменили адрес. Звуков подслушивания в аппарате я не слышал, но рисковать не хотел и сказал только, что примерно через час заеду к нему на службу.

Пошел дождь с мокрым снегом, и я поехал в БМВ, даже не глядя в зеркало заднего обзора. Все равно людям "Феникса" было известно о моей связи с комиссией "Зет". По дороге я думал о Кеннете Линдсее Джоунсе и о Грюневальдском озере. Потом мне показалось, что я наконец нашел ответ: Октябрь приказал своим подручным сбросить меня туда, так как знал, что я слышу его распоряжение и буду убежден, что он действительно приказывает ликвидировать меня, поскольку именно в Грюневальд-Зее был сброшен мертвый Джоунс. Возможно, что ответ мой был правильным, но мне не нравилось, что он не выходил у меня из головы, и я решил вернуться к нему позднее.

Возможно, что последнее сообщение Джоунса в резидентуру, переданное им незадолго до смерти, поможет мне. Я помнил содержание сожженного мной меморандума, но подлинника сообщения Джоунса не видел. Если у него были основания считать свою гибель неизбежной, он мог как-то намекнуть на это, однако не в меморандуме, в котором было дано лишь очень краткое изложение его донесения.

Направляясь в комиссию "Зет", я послал в резидентуру сообщение со следующей просьбой:

"Прошу как можно скорее дать возможность познакомиться с подлинником последнего сообщения КЛД. Гостиница "Центральная", Мариендорф".

Капитан Штеттнер оказался один у себя в кабинете и поздоровался со мной в некотором замешательстве. Это был типичный для своей среды человек с решительным выражением лица и ясными, но невыразительными глазами. Следуя за святым, он мог бы совершать святые поступки, но, следуя за дьяволом, перещеголял бы самого сатану. Такие люди рождаются для того, чтобы повиноваться, и как сложится их жизнь, зависит от того, кто станет их вожаком. Штеттнеру было лет тридцать, и в нынешней обстановке его обязанности заключались в том, чтобы разыскивать подручных давно сгнившего маньяка и передавать их в руки правосудия. Родись Штеттнер лет на пятнадцать раньше, он, вероятно, получил бы соответствующее "образование" в организации гитлеровской молодежи, в 1939 году, наверное, перешел бы

к штурмовикам и командовал одной из рот палачей, занимавшихся массовым уничтожением людей во имя своего бесноватого фюрера.

— У вас, видимо, бессонница, герр Квиллер?

— У меня не хватает времени для сна. — Не следы бессонницы отражались на моем лице, а следы обращения Октобера, и меня раздражало, что это было заметно. — Но вы сказали, что пытались связаться со мной.

— Да. Жаль, что вы не сочли нужным сообщить мне о перемене адреса.

— Я не знал, что вам потребуется моя помощь.

Смущение Штеттнера заметно усилилось.

— До сих пор я полагал, что наши отношения предполагают взаимную помощь.

Я промолчал, и, всматриваясь в Штеттнера, с завистью подумал: почему мне сейчас не тридцать лет, когда никакие переживания не отражаются на человеке?

— Вы, кажется, хорошо знали доктора Соломона Ротштейна? — внезапно спросил Штеттнер.

— Я знал его очень давно.

— Во время войны?

— Да.

— Вы могли бы рассказать мне, какую работу он вел во время войны?

— Какую именно помощь я мог бы оказать вам, герр Штеттнер?

— Я понимаю, герр Квиллер, что вы вовсе не обязаны отвечать на мои вопросы...

— Говорите, я слушаю.

Штеттнер задумался, и мне показалось, что я даже увидел, как в голове у него от напряжения закрутились различные колесики, начищенные до блеска. Он был чиновником федерального правительства, а я — офицером разведки одной из оккупируемых держав и как старший по положению задавал тон в беседе. Разобравшись в этом, Штеттнер нашел необходимым следовать полагающейся в подобных случаях процедуре и доложил:

— Мы пытались "расколоть" шифр, но безуспешно. Хочу надеяться, что, может быть, вам это удастся; вы когда-то работали вместе с доктором Ротштейном и можете вспомнить, какие шифры он применял.

Мне сразу стало ясно, что произошло.

— Мы не смогли разыскать в Аргентине его брата, Исаака Ротштейна, и поэтому сами открыли контейнер, найденный в лаборатории на Потсдаммерштрассе, после тщательной проверки, нет ли в нем взрывчатки. В контейнере оказался стеклянный флакон и лист бумаги с зашифрованным текстом.

Я даже не припомню, когда бы мне еще так везло! А я-то предполагал, что мне придется долго уговаривать Штеттнера вскрыть контейнер и еще дольше — показать мне его содержимое,

— Ну что ж, попробую.

Штеттнер попытался сделать вид, что не испытывает облегчения.

— Подлинник шифровки мы оставим у себя, а вам я дам точную копию. Вы должны тщательно хранить ее и никому не показывать, но полагаю, что предупредить вас об этом нет необходимости.

— А я-то думал договориться с издателем "Дер Шпигеля" об опубликовании!

Штеттнер даже подпрыгнул.

— Это же недопустимо, герр Квиллер! Вы должны понимать необходимость... соблюдения секретности... — он начал заикаться и заговорил тише, а потом на лице у него появилась растерянная улыбка. — Вы же шутите... да, да, конечно, шутите.

Штеттнер не сразу пришел в себя, и, пользуясь этим, я спросил:

— А вы намерены открыть флакон?

— Начальство полагает, что это весьма опасно. Доктор Ротштейн всю основную работу вел в специальной лаборатории, находившейся позади той, на которую был совершен налет, и оборудованной специальной герметизацией. Один из сотрудников его лаборатории, допрошенный нами, сообщил, что

доктор Ротштейн работал над некоторыми штаммами исключительно опасных для человека бактерий. Если

нам удастся прочесть это зашифрованное сообщение и в нем не окажется каких-либо веских причин для вскрытия флакона, мы вынуждены будем уничтожить его, не открывая. — Он протянул мне серый конверт. — Вот ваш экземпляр. Желаю успеха.

По дороге в Мариендорф я заметил, что меня преследует маленькая серая машина, и привел ее до места, от которого до гостиницы "Центральная" оставалось около километра. Я вовсе не намеревался ехать

туда, но, желая поскорее отвязаться от слежки, лишь создавал впечатление, что еду домой. "Хвост", ошибочно полагая, что знает, куда я направляюсь, окажется неготовым к внезапному изменению мною маршрута. Так и получилось — я "оторвался" от него, свернув с Риксдорфштрассе, вновь проверил, не следует ли он за мной, направился в ближайший парк и поставил БМВ около беседки, между двумя другими машинами.

На расшифровку могло уйти несколько дней. Я не мог заниматься этим в "Центральной"; нацисты могли явиться ко мне, когда им заблагорассудится, а я не хотел встречаться с Октобером, пока не подготовлюсь соответствующим образом. Ждать ему долго не придется. Я понимал, что Октобер покинул квартиру Инги не потому, что отказался от намерения заставить меня говорить. Он будет пытаться сделать это до тех пор, пока его руководители, отчаявшись, не прикажут ему ликвидировать меня. После ухода из квартиры Инги накануне вечером я находился под постоянным наблюдением, и нацисты, наверное, сейчас встревожены тем, что в течение дня дважды теряли меня.

Если бы я занимался расшифровкой документа Ротштейна в гостинице, нацисты, несомненно, явились бы туда, вновь увезли бы меня к себе и держали в заключении, пытались сами прочесть шифровку, а кроме того, сделали бы все, чтобы я заговорил. Теперь и гостиница "Центральная" стала для меня опасным местом.

В парке было безлюдно. Мокрый снег и дождь стучали по машине и струйками сбегали по стеклам. Мотор работал, я включил печку, и в машине стало тепло.

Лист бумаги был покрыт напечатанными на машинке печатными буквами. Свет бледного полудня падал на бумагу, и мне показалось, что она тает, пока я ее рассматриваю. После внимательного изучения я решил, что криптографы Штеттнера правы, и я имею дело с сообщением, обработанным каким-то шифром, а не закодированным и не написанным на незнакомом языке.

Любой шифр "раскалывается" при помощи математики, закона повторяемости и систематических попыток. Самые опытные криптографы прибегают к их содействию и терпеливо — что является основным — их применяют.

Я вовсе не отношу себя к опытным специалистам. Все мои познания в криптографии состояли в том, что я узнал за два месяца обучения, в нормальной обстановке я просто передал бы документ в резидентуру,

пусть специалисты ломают себе головы. Однако замечание капитана Штеттнера имело определенный смысл: мое знакомство с Солли Ротштейном могло дать какой-то ключ к шифру. (В такой же степени и подлинник сообщения Джоунса мог содержать какие-то данные об обстоятельствах его смерти, которые невозможно было увидеть в перефразированной и обезличенной информации, содержащейся в меморандуме.)

На листе бумаги было двадцать пять строчек, примерно по десять буквенных сочетаний в каждой. Проверая повторяемость букв, я обнаружил, что буква "К", например, встречается сто тридцать раз и, следовательно, может означать "Е"; буква "Л" — девяносто семь и может значить "Т"; буква "Х" — шестьдесят один раз и, возможно, заменяет "А" и т. д.

В окна по-прежнему стучал дождь, начало смеркаться, в машине стало душно, и я выключил печку. Все мои попытки прочесть сообщение пока оказались безуспешными. "Солли, — в отчаянии спрашивал я, — что ты хотел сообщить брату? Чем ты наполнил стеклянный флакон? С хорошей целью или с плохой? Для кого?.."

Стемнело: букв не стало видно. Не желая включать освещение, я вышел из машины, закрыл ее, час бродил по улицам, чтобы размяться и подышать свежим воздухом, а потом вернулся и снова работал часа четыре с половиной, но закончил там, где и начал, то есть, не расшифровав ни единого слова. Однако я проделал все же большую работу. Документ был зашифрован одним из шестнадцати тысяч двохсот двадцати известных науке шифров, и мне все еще предстояло установить, каким именно. Я не мог даже думать, чтобы испробовать каждый из них, так как для этого потребовался бы приблизительно двадцать один месяц, если работать без отпуска шесть дней в неделю по восемь часов в день. Несомненно, существовали какие-то другие пути, которые я должен был найти.

В десять часов за шницелем и мозельским вином у меня возникла мысль о доме и постели, хотя я и понимал, что это опасно. Люди "Феникса" могли явиться туда в любую минуту, но если бы я вообще покинул "Центральную", Октябрь был бы встревожен. До поры до времени мне следовало демонстративно

делать вид, что я готов к встрече с ним, а дальше уже действовать, исходя из обстановки. Еще день (но не больше) Октоберу следует считать, что все идет в соответствии с разработанным им планом. А уж затем я внесу кое-какие коррективы и поведу дело так, как необходимо в соответствии с моим планом.

Я сидел в дешевом ресторане, и можно было предполагать, что стены уборной здесь окажутся из стареньких досок, а не облицованные плитками. Если бы мое предположение не оправдалось, пришлось бы

искать какой-нибудь совсем плохонький бар. Однако все соответствовало моим ожиданиям, и я, сложив документ вчетверо, спрятал его в щель, не сомневаясь, что ночью тут его никто искать не будет. Потом я отправился домой, в гостиницу "Центральная". БМВ я поставил в гараж, ключ от которого взял с собой. После пятиминутной проверки мне стало ясно, что в моем номере нет ни адских машин, ни микрофона и обыск в нем не производился. У меня возникло сильное желание позвонить в "Брюннен-бар", телефон которого я написал Инге на салфетке, но я сдержался. Потом я задремал, и во сне передо мной летал целый

рой напечатанных на машинке заглавных букв.

На следующий день в полдень я выехал на машине из гостиницы и примерно через километр посмотрел в зеркальце, ведется ли за мной слежка. Да, действительно, за мной шла машина, на этот раз "таунус М-12" металлически-серого цвета. Она дважды проскочила за мной на желтый свет, причем водитель неоднократно включал и выключал подфарники. Я вновь приехал в тот самый парк, в котором накануне провел вторую половину дня, и опять поставил машину около беседки. Позади меня сейчас же остановился "таунус"; на всякий случай я выскочил из машины до того, как это сделает водитель "таунуса", и принялся ожидать его.

17. ХОРЕК

В безлюдном парке, освещенном скудным светом зимнего дня, мы были одни. Он стоял неподвижно, давая возможность внимательно рассмотреть его. Круглое лицо, темно-карие глаза за стеклами очков, в самой простой оправе, черная велюровая шляпа. Я не сразу узнал Поля.

— Мне нужно лишь донесение, — сказал я. — С этим могли послать Хенгеля или кого-нибудь еще.

— Мне поручено переговорить с вами. Это следовало сделать еще два дня назад, но вы не доложили, что перебрались в гостиницу "Центральная". Почему за вами нет наблюдения?

Он заметил, что от гостиницы меня никто не сопровождал.

— Я "законсервирован".

— За вами не ведется слежки?

— Филер сидит в баре напротив гостиницы или, во всяком случае, сидел там вчера. — Меня самого очень беспокоило, что сегодня при выезде из гостиницы я не был взят под наблюдение.

— Мы начинаем беспокоиться за вас, — сообщил он. Центр и резидентура всегда знают о работнике больше, чем он предполагает. Я знаю, когда за мной ведется наблюдение, но не всегда могу определить, делает ли это противник или меня проверяют свои. Резидентура вполне могла поручить Хенгелю, или Брэндю, или еще кому-нибудь присматривать за мной в отеле "Принц Иоганн". Сразу же после получения просьбы показать донесение Джоунса резидентура могла поставить своего человека и у "Центральной".

Мысль эта вызвала у меня раздражение, и я решил испытать его:

— Июль, август, сентябрь, — сказал я.

— Да, об Октябре нам известно, — ответил он.

— И давно?

— Семь месяцев.

До меня и Кеннета Линдсея Джоунса месяцев семь назад работу, которую я вел сейчас, пытался выполнить Чарингтон. Он погиб, и убил его, вероятно, Октябрь, так же как и Джоунса, а теперь резидентура тревожилась за меня.

— Я просил показать мне подлинник донесения.

— Он у меня с собой.

— Не передавайте его сейчас.

— Нет, конечно.

В парке по-прежнему никого не было: деревья, окружавшие нас, в зимнем воздухе казались призрачно-серыми. Но мы оба, возможно, ошибались, и от гостиницы за нами могло быть наблюдение, которое сейчас велось из-за деревьев. Если филер увидит, что Поль что-то передал мне, "Феникс"

немедленно примет соответствующие меры.

— Мне поручено Центром вручить вам сообщение и проинструктировать, — продолжал он. — Мы знаем меньше вас об Октябре и о "Фениксе", но нам известно больше о положении вообще.

— Резидентура может сообщить мне только то, что находит нужным, и я...

— Попытайтесь меня понять. Мне было поручено подробно ориентировать вас на первой же встрече, но вы не проявили желаний выслушать меня. Вы считали, что немецкий генеральный штаб без ведома союзников не может организовать какое-нибудь вооруженное выступление.

— Я и сейчас так считаю.

— Как же в таком случае вы вообще представляете себе смысл своего задания?

— Я рядовой разведчик, заброшенный в лагерь противника, подобно тому, как хорек подбрасывается в чужой кроличий садок. Разведка — моя профессия, но это задание я согласился выполнить с особым удовольствием. Если в конце концов мне удастся найти и разоблачить Цоссена, Октября и всю верхушку "Феникса", я вовсе не сочту, что совершил нечто грандиозное.

— Если вам удастся помочь разоблачить "Феникс", — спокойно продолжал Поль, — вы спасете миллионы жизней, но почти наверняка потеряете свою. Мы понимаем это. — Он не сводил с меня темнокариных глаз. — Вы должны правильно оценивать обстановку, так как иначе не сможете хорошо выполнить задание. Мы ожидаем от вас только наилучших результатов.

Внезапно воздух показался мне каким-то липким, а деревья в парке превратились в рощу на кладбище.

— Вот поэтому-то мы беспокоимся о вас. Желательно, чтобы вы отнеслись к своему заданию самым серьезным образом. Если вы будете считать, что мы послали вас для получения обычной информации, ваша работа здесь, по существу, окажется бесполезной. Информация нам очень нужна, но она носит особый характер. Мы хотим знать, где находится и откуда оперирует штаб-квартира "Феникса". В свою очередь руководство "Феникса" жаждет получить информацию о нас, и в особенности выяснить, что мы знаем об их намерениях. Руководители "Феникса" прекрасно понимают, что скорее и проще всего они могут узнать это от вас.

Я не останавливал его — он был прав. Противники никогда раньше не обращались со мной так, как это делал Октябрь. Обе его попытки заставить меня говорить — под наркозом и во время пыток Инги — осуществлялись в соответствии с обычной в подобных случаях процедурой, но вот в остальном он давал мне возможность действовать более или менее свободно.

Нацистам, вероятно, не удалось много узнать у Чарингтона, и они ликвидировали его, прежде чем он выяснил о них что-нибудь важное. То же произошло с Джоунсом. "Феникс" пока давал мне жить, надеясь получить информацию о резидентуре.

— Нас тревожит, — вновь заговорил Поль, — что вы не понимаете своего положения, а оно таково: на поле друг против друга в боевой готовности стоят две воюющие армии, и каждая готова перейти в наступление. Поле окутано густым туманом, и противники ничего не видят. Вы находитесь между этими армиями, на ничейной территории, и пока можете видеть только нас. Ваше задание заключается только в том, чтобы приблизиться к противнику и сообщить нам, какую позицию он занимает, что поставит нас в более выгодное положение. Повторяю, Квиллер, сейчас вы действуете на ничейной земле.

Поль снова умолк, давая мне возможность подумать.

Я и без него понимал, что как только смогу приблизиться к "Фениксу" и сообщить резидентуре необходимую информацию, я сыграю свою роль и, вероятно, погибну. Вряд ли мне удастся уйти живым. "Нет, черт возьми, — решил я, — я проберусь в штаб-квартиру "Феникса", добуду и сообщу необходимую информацию и все же выживу!"

Окружавшие нас деревья по-прежнему не шевелились, теперь уже напоминая кольцо надгробий.

— Я должен ознакомиться с подлинником донесения, и только, — повторил я. — После этого перестаньте, наконец, мешать мне.

Я вернулся в машину. Поль подошел к окну и, встав так, чтобы со стороны не было видно, что он делает, уронил конверт на сиденье. В полумраке его лицо показалось мне мрачным.

— Не забывайте, — сказал он, — что вся наша организация готова вам помочь.

— Еще раз прошу — не мешайте мне.

Я читал "завещание" Джоунса, написанное размашистым торопливым почерком.

"...3 декабря. Очень надоедают "хвосты", и приходится тратить много времени, скрываясь от них.

Однако мне удалось узнать кое-что о местонахождении их штаб-квартиры, и я надеюсь скоро получить подтверждение этой информации. Я попал в исключительно сложное положение и прошу пока не связываться со мной. Возможно, что я не смогу слушать передачу "Биржевого бюллетеня" и отправлять вам донесения, но это только временно. КЛД".

Ресторан был полон, и я, делая вид, что расправляюсь со свиной котлетой, обдумывал сообщение Джоунса.

Джоунс явно достиг того же этапа, что сейчас я, и попросил резидентуру (так же как я час назад Поля) не мешать ему. Потом он проник в штаб-квартиру "Феникса" и тем самым подписал себе приговор.

"...Мне удалось узнать кое-что о местонахождении их штаб-квартиры..."

Тем самым Джоунс стал опасен для нацистов, и они расправились с ним. Несомненно, он узнал адрес штаб-квартиры "Феникса". Я тоже там побывал, и, хотя фашисты приняли все меры, чтобы скрыть от меня адрес, мне теперь было известно, где она находится.

Я вложил документ в конверт с уже написанным на нем адресом "Евросаунда". Официант подал счет, я расплатился, вышел в уборную и перочинным ножом достал шифровку Ротштейна. В почтовый ящик на углу недалеко от ресторана я бросил, как обещал, конверт с донесением Джоунса. Потом быстро обошел вокруг квартала и убедился, что за мной никто не следит. После встречи с Полем я заезжал в "Центральную", и оттуда до ресторана за мной следовала маленькая серая машина, которая сейчас стояла через пять машин от моего БМВ. Я не располагал временем, необходимым, чтобы оторваться от слезки, и не мог рисковать документом. На перекрестке стоял постовой полицейский. Я подошел к нему и показал пропуск в комиссию "Зет", полученный от капитана Штеттнера. Вообще-то говоря, этот пропуск открывал мне доступ лишь к архиву и в технические отделы комиссии, но сейчас это значения не имело.

— У меня есть основания полагать, что вон та машина, серая, БНЛМ-11, на другой стороне улицы — краденая. Может быть, вы проверите документы водителя?

Мы вместе перешли улицу, но, когда поравнялись с машиной, я отстал и сел за руль. Уже отъезжая, я увидел в зеркальце, что полицейский проверяет документы у водителя БНЛМ-11.

Для замены БМВ в прокатном бюро потребовалось не меньше получаса, но я понимал, что, пытаясь скрыться от наблюдения, я потерял бы значительно больше времени. Зато теперь я располагал другой машиной, то есть несколько замаскировался. Я не мог рисковать — при мне был важный документ, а кроме того, я, как в свое время написал Джоунс, "попал в исключительное положение".

Миллионы жизней, сказал Поль. Да, миллионы, но плюс одна, моя собственная. Я тоже обязан выжить, и важной персоне в Лондоне не придется, небрежно закуривая сигару, опять давать указания о посылке нового человека — теперь уже вместо меня.

Я арендовал полуголочный "мерседес-230-СЛ" со специальным мощным мотором, о чем мои противники вряд ли могли догадаться, проехал в западном направлении, добрался до Хавеля и поставил машину на полуострове Шильдхорн. Водный пейзаж скрывала дымка, дневной свет был каким-то серым. Памятник из песчаника торчал, как палец, указующий в небо, но я лишь однажды взглянул на него, так как здесь все напоминало о кладбищах.

Я опять принялся ломать голову над расшифровкой текста Ротштейна, применял самые различные комбинации букв и всякий раз убеждался в их бесполезности. Часа через два у меня затекли ноги, однако я

все же заставил себя работать еще часок-другой, а затем вышел прогуляться. Побережье было красивым, но земля и вода выглядели какими-то безжизненными; закутанное в полумрак сосен, оно казалось идеальным пристанищем для заблудших душ. Единственным живым существом, которое я видел в течение всего полудня, была собака; она появилась откуда-то из тумана, задрала ногу у подножия памятника и убежала.

Я приказал себе набраться терпения и вновь принялся подбирать различные комбинации. Ну а если, например, "У" принять за "Ы", "Б" — за "Е", "О" — за "В" и так далее? Возьмем какое-нибудь слово подлиннее: получается "еынневтсечаколз"; перевернем и прочтем — злокачественные! Подождите, подождите Возьмем другое слово и прочтем его по этому же методу — эпидемический! Ну-ка, Солли, давай, давай!

18. ОБЪЕКТ № 73

У капитана Штеттнера тряслись руки.

Я сидел перед ним, пытаюсь сосредоточиться, но очень скоро убедился, что это невозможно.

Штеттнера охватил такой ужас, что мне было не до раздумий. Едва пробежав начало расшифрованного текста Ротштейна, он сейчас же схватил трубку.

— Пятнадцать, — сказал он телефонистке. Видимо, он попросил соединить его с лабораторией судебно-медицинской экспертизы, лишь там мог храниться флакон с опасным содержимым.

— Говорит капитан Штеттнер, — сказал он в трубку, с трудом владея собой. — У вас хранится некий объект под номером 73. Вы получили распоряжение открыть его? — Штеттнер пристально смотрел на меня, и я вспомнил, как он волновался, когда к нему в кабинет явился лжеврач из "Феникса", чтобы сделать инъекцию. — Пока нет?.. Так вот, если вы получите подобное распоряжение, предварительно

свяжитесь со мной. Содержимое этого флакона весьма опасно. Примите все меры к тому, чтобы флакон был тщательно закрыт и постоянно хранился под замком. Неминуема колоссальная катастрофа, если он будет разбит.

Штеттнер говорил еще несколько минут и все в том же духе, а когда положил на место трубку, на ней можно было видеть следы его потных пальцев. Мне пришлось еще немного подождать, пока он не прочтет

сообщение, которое дрожало у него в руках.

— Я ничего не знаю, — заговорил он наконец, — о всяких там бациллах, а вы? — Штеттнер очень напоминал ребенка, который жалобно просит успокоить его и сказать, что ночь пройдет, утром снова выглянет солнышко.

— Не очень много.

Штеттнер растерянно провел рукой по лицу.

— Может быть, доктор Ротштейн был не совсем психически нормален? — спросил он, явно не ожидая, что я отвечу положительно.

— Как можно определить в нашем сумасшедшем мире, кто нормален, а кто нет?

Штеттнера это, конечно, не успокоило, и он сделал новую попытку:

— А как же... с утверждением об... эпидемии? Неужели ее может вызвать содержимое маленького флакона?

— Вполне. Вот, например, ученые Америки, России, Англии, Франции, Японии, Китая и, наверное, других стран сейчас работают над ботулотоксином, выводя и убивая соответствующие бациллы для того, чтобы найти основу противоядия. Восемь унций этого яда могут отравить население всего земного шара. Для того чтобы бедное человечество могло жить в мире и дружбе, нам всем нужно обладать этим противоядием. Возможно, что Ротштейн также работал в этой области, но это не то, чем он наполнил флакон. Его содержимое состоит из бацилл группы, вызывающей эпидемию чумы.

Раздался звонок телефона, и Штеттнер сейчас же отключил аппарат, чтобы я мог продолжать.

— Существуют три формы чумы. При так называемой бубонной чуме распухают лимфатические железы, начинают нагнаиваться и превращаться в черные нарывы. При заболевании септической формой поражается кровь. Первично-легочная чума протекает еще тяжелее и значительно инфекционное бубонной, от которой в четырнадцатом веке погибло около четверти населения тогдашней Европы; ту вспышку эпидемии англичане называли "черной смертью". В своем сообщении доктор Ротштейн дает точное научное название ее микроба-возбудителя "Пастеурелла пестис". Этот микроб относится к палочковидным бактериям и может выращиваться в лабораторных условиях в соответствующей микробной среде. Инфекция проникает в легкие воздушно-капельным путем; инкубационный период короток и длится всего от двух до пяти дней, то есть протекает в три раза быстрее, чем при заболевании оспой.

Штеттнера это расстроило еще больше, и он тупо переспросил:

— Как вы сказали, четверть населения Европы? Так много?

— В то время — да, около двадцати пяти миллионов. — Я стал думать вслух, как на Нюрнбергском процессе, когда давал показания о Гейнрихе Цоссене. — Да, господин капитан, так много. В наше время только в нацистских лагерях смерти от фашистской чумы погибло около половины этого количества.

Штеттнер промолчал, он думал об Аргентине и объекте № 73.

Я продолжал:

— Естественная сопротивляемость организма легочной чуме сейчас в Латинской Америке довольно невысока — эпидемий там уже давно не было, хотя местные очаги ее зарегистрированы в Бразилии, Перу и Уругвае. Если бы брат доктора Ротштейна в Аргентине вылил содержимое этого флакона на пол переполненного зала кино в Сан-Катарине, семьдесят тысяч бывших нацистов, проживающих там, умерли бы в течение недели.

Штеттнер помолчал, а затем спросил:

— Герр Квиллер... но зачем это было нужно доктору Ротштейну?

— Гитлеровцы убили его жену.

— Ничего не понимаю! Вы опять, должно быть, шутите.

— Хочу надеяться, что никогда и не поймете, так как слишком молоды. Поговорите лучше со своими стариками, они-то должны понимать. За пять лет нацисты уничтожили двенадцать миллионов человек. В судах при рассмотрении дел военных преступников вы можете слышать, как они объясняют причины этого. Очень многих уничтожили лишь за то, что они принадлежали к "низшим" расам. Только и всего, ничего персонального — ни ненависти, видите ли, ни мыслей о возмездии, ни страха. Вот так: лагерь смерти, газовая камера. Понять это действительно трудно, но я лучше разбираюсь в том, какими

соображениями руководствовался доктор Ротштейн. Он поклялся отомстить нацистам, и действенность его клятвы определялась тем, как сильно он любил жену и в какое отчаяние впал после ее смерти. Штеттнер встал и склонился надо мной — высокий, худой, молодой, все еще пытающийся понять мир, в котором родился и жил.

— Подождите, а как же другие?! Для чумы границ нет! Вначале гибнут жители Сан-Катарины, потом всей Аргентины...

— Да, пока не установят точного диагноза и не применят всякие сульфаниламидные препараты. Во время самосудов вместе с виновными всегда гибнут невинные, и Ротштейн это понимал.

Штеттнер взглянул на меня ясными, но ничего не выражающими глазами, и я почувствовал, что этот полицейский начинает меня раздражать — он, видимо, не понял смысла моих ответов.

Весь этот день проходил отвратительно, и я чувствовал, что мной овладевает подавленность. Два дня утомительной работы над расшифровкой сообщения Ротштейна не приблизили меня к "Фениксу".

Возможно, сообщение Солли не имело никакого отношения к тому, что он хотел сказать мне, у Ротштейна не было оснований делиться со мной своим намерением уничтожить население города в Южной Америке; он, безусловно, понимал, что я никогда не поддержу такую сумасшедшую затею. Неужели он сошел с ума и не видел опасности гибели населения целого континента, даже разработав для брата сложную, тщательно

засекреченную систему прививок от эпидемии для спасения невинных? К выполнению моего задания это никакого отношения не имело. Если Исаак Ротштейн не был сумасшедшим, он немедленно уничтожил бы флакон.

Повторяю, что Солли никогда не сообщил бы мне об этом. Но что же в таком случае он так стремился рассказать мне? Никаких намеков на это в расшифрованном документе не было. В нем содержались лишь подробные указания брату: о том, как следует распространять бациллы, как самому уберечься от заражения, что нужно делать в течение инкубационного периода, и так далее.

Конечно, у меня по аналогии возникло одно, если можно сказать, параллельное предположение. Я хотел основательно подумать над ним позднее, после того как на меня перестанет действовать патологическая боязнь Штеттнера заразиться. Очевидность подобного предположения для меня была ясна: я понял, что Солли хитрил и вел двойную игру.

— Я вам очень признателен, герр Квиллер, — между тем продолжал Штеттнер, — и, разумеется, немедленно доложу расшифрованный текст начальству.

Перед уходом я все же спросил:

— А еще что-нибудь существенное вы нашли в лаборатории... что-нибудь существенное, о чем вы не сказали мне?

— Нет, больше ничего, — удивленно ответил Штеттнер.

— Я оказал вам услугу, господин капитан, и надеюсь на взаимность. Вы даете слово, что нашли только контейнер?

— Да, конечно, мы взяли еще кое-какие бумаги, но вы уже видели их.

Штеттнер не лгал. Честно говоря, я огорчился — мне не за что было ухватиться.

Я попрощался со Штеттнером и нашел свой "мерседес" там же, где оставил, примерно за километр от комиссии "Зет". Мне казалось, что нацисты не допускают мысли, что я рискну ездить в столь приметной машине, но теперь, как только это им станет известно, они будут следить за мной издалека, и обнаружить такое наблюдение трудно. Машину я оставил далеко, не сомневаясь, что они наблюдают за зданием комиссии "Зет" и уверены, что я должен буду туда пойти. Направляясь к машине, я не обнаружил слежки, и у меня возникло нехорошее предчувствие. Нацисты предоставляли мне уж слишком большую свободу действий, и меня это тревожило. Переход в наступление оказался более трудным, чем я предполагал, а тут еще пришлось потратить два дня на расшифровку документа Ротштейна, ничего не сообщившего мне о "Фениксе". Состояние у меня было подавленным и могло быть еще хуже, если бы не одно обстоятельство, ставшее очевидным в течение дня, — теперь я верил Полю и тому, что он мне сообщил. Немецкий генеральный штаб вновь обладал или мог обладать возможностью начать агрессивную войну. Этот бесспорный вывод логически вытекал из того параллельного предположения, о котором речь шла выше. На улице уже стемнело, и мостовые блестели от дождя и растаявшего снега. Я решил рискнуть поставить "мерседес" в арендованный мною при гостинице частный гараж, надеясь, что меня никто не опознает. Если человек "Феникса" все еще дежурит в баре на углу, он, естественно, полагает, что я приеду в БМВ.

Я дождался того, что перед светофором выстроилась очередь машин, проехал некоторое расстояние, а затем пристроился в хвост двум машинам, свернувшем в мою улочку, стараясь держаться как можно ближе к ним. Окна бара запотели, но в стекле одного из них была протерта дырочка, и я, проезжая мимо,

отвернулся, а затем с выключенными подфарниками въехал во внутренний двор гостиницы. Он имел форму прямоугольника, и наполовину прикрывавшая его стеклянная крыша тянулась от гостиницы до гаража. Вести наблюдение за тем, что происходило во дворе, можно было только из окон гостиницы или из домика на другой стороне улицы; окна его находились как раз напротив ворот. За мной не велось наблюдения, когда я ставил машину в гараж, но меня могли видеть, когда я въезжал во двор. Возвратившись в номер, я произвел обычную проверку, но ничего подозрительного не обнаружил. Пока нацисты все еще держались от меня на расстоянии, предоставляя мне свободу действий. Проведя за размышлениями около часа, я смог ответить на кое-какие вопросы, хотя при этом возникли новые. Я тщательно проанализировал параллельное предположение, возникшее у меня в связи с

документом Ротштейна, и решил, что оно остается в силе. После этого я почувствовал себя много лучше и даже составил следующее краткое донесение в резидентуру:

"Дополнение к сообщению № 5. В контейнере, обнаруженном в лаб. Ротштейна, оказался флакон с микробами легочной чумы в сильной концентрации, а также зашифрованное сообщение для брата Ротштейна в Аргентине с подробными указаниями, как вызвать ее эпидемию в Сан-Катарине. Если вам потребуются детали, свяжитесь с капитаном Штеттнером из комиссии "Зет"".

Я прилегал минут на десять отдохнуть, потом вспомнил, что чуть не забыл позвонить в "Брюннен-бар". Линия не прослушивалась, и в баре мне сообщили, что герра Квиллера просили позвонить до полуночи по телефону "Вильмерсдорф 38-39-01".

Уже после второго звонка Инга взяла трубку. Ее телефон тоже не прослушивался.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил я.

— Сейчас лучше.

— Мне сообщили, что ты просила позвонить...

— Да. Приходи ко мне — нам нужно встретиться.

— Слишком опасно, Инга. Все может повториться сначала.

— Никакой опасности нет. Ты должен прийти как можно скорее. Поверь, что у меня есть кое-что важное для тебя.

Передо мной был выбор — согласиться с ее утверждением об отсутствии опасности или остаться при своем мнении.

— Хорошо, я буду у тебя минут через пятнадцать.

Разумеется, это было рискованно, хотя, возможно, я ошибался в оценке положения. Я вышел из гостиницы, опустил в ближайший почтовый ящик донесение в резидентуру, а потом взял такси. Пока мне не хотелось рекламировать, что я располагаю очень быстроходным "мерседесом" — эта машина еще могла

пригодиться для того, чтобы унести меня от опасности.

Я не обнаружил наблюдения за подъездом дома, где жила Инга. Вестибюль, лифт и коридор верхнего этажа были безлюдны. Я нажал звонок.

Инга была в ярко-красной тунике и таких же брюках. Она взглянула на меня, и мне показалось, что этот цвет отразился у нее в глазах. Я впервые видел ее в таком одеянии.

— Познакомьтесь, Хельмут Браун, — сказала она. Это был низенький человек с влажными глазами, чуть опущенными веками и маленьким, как у котенка, тупым носиком. Его руки неподвижно висели; держался он уверенно, но Инга очень нервничала и за первые полминуты раза два взглянула на столик из черного дерева.

— А ведь они убеждены, что я работаю на них, — сообщил он с застенчивой улыбкой.

Должен признать, что я оказался захваченным врасплох и поэтому чувствовал себя неважно. Мы всегда стараемся заранее оценить обстановку, в которой придется действовать. Прошло уже двадцать минут после моего телефонного разговора с Ингой, а я все еще не понимал, что значил ярко-красный цвет ее костюма, присутствие какого-то Брауна и лежащая на столике черная папка. Мне приходилось ориентироваться по ходу беседы, а я так же, как и мои коллеги, терпеть не мог этого.

— На них? — переспросил я, поскольку это мог быть кто угодно — комиссия "Зет", какой-нибудь любовник Инги и так далее. Во всяком случае, я уже точно знал, что на нашу разведку он не работает, — в его первой фразе не было ни одного кодового слова.

— На "Феникс", — уточнил он, продолжая улыбаться. Он явно пришел сюда для деловой беседы и, взяв со стола папку, с развязным поклоном протянул мне.

— Это для вас, герр Квиллер.

Инга опустила на черную кушетку, и в моем сознании почему-то сразу возник образ пламени на углях. Прежде чем открыть папку, я взглянул на Ингу — она сидела, рассматривая свои руки. Папка была

небольшой, тоненькой, и на первом же листе я увидел слово "Шпрунгбертт", то есть "Трамплин".

— Вы хотите, чтобы я сейчас же просмотрел это?

— Мы полагаем, что не следует терять времени, — ответил он, и я сообразил, что мой новый знакомый говорит с баварским акцентом.

Они оба не спускали с меня глаз, пока я перелистывал документы. Уже на второй странице оказался список фамилий высокопоставленных генералов и офицеров немецкого генерального штаба. Далее шел перечень воинских частей, находящихся в состоянии готовности для участия в операции, затем характеристика всей операции в целом с подробной разработкой деталей предварительных мероприятий и

направления основных ударов. Тщательно отобранные смешанные пехотные, военно-морские и военно-воздушные части должны были начать военные действия сразу же после одновременной передачи пятью международными телеграфными агентствами ложного сообщения о том, что в результате ошибки во время очередного ядерного испытания в Сахаре облака радиоактивной пыли движутся через Средиземное море на Европу. После объявления тревоги немедленно наносились удары по Гибралтару, Алжиру, Ливии, Кипру и Сицилии, причем в операциях должны были участвовать также подразделения армии Франко и батальоны, сформированные мафией в Южной Италии. Главные державы мира будут поставлены перед свершившимся фактом. Все это должно было стать началом новой войны в ядерном веке.

В течение пятнадцати минут, пока я читал бумаги, никто не произнес ни слова. Я положил папку на столик и заметил:

— Но здесь нет даты и часа начала всей операции.

— Я не обратил внимания, — с огорченным видом ответил Хельмут Браун. — Мне будет очень трудно узнать это. Я и так очень рисковал, добывая папку.

Инга, внимательно наблюдавшая за мной, снова принялась разглядывать свои ногти. На ее лице я лишь мог прочесть, что все это ее очень тревожило. Лицо Брауна выражало обиду.

— В Сахаре сейчас действительно работает испытательная группа, — задумчиво заметил я, — но никто не знает, когда там будет взорвана бомба.

— Мы можем предполагать, герр Квиллер, что это вопрос нескольких дней.

Я подошел к Брауну и спросил:

— С какой целью вы достали эту папку и что заставило вас решиться показать ее мне?

Все еще не поднимая рук и смотря мне прямо в глаза, Браун ответил:

— Я друг Инги, и она знает, что я борюсь с "Фениксом". Она рассказала мне о вас. Я хотел сделать что-нибудь конкретное, и после многих лет пассивного сопротивления нацистам такая возможность представилась. Сам я ничего с этой папкой сделать не смогу, а вы можете, и поэтому я принес ее вам. Инга насторожилась и что-то прошептала. Браун взглянул сначала на нее, потом подбежал к двери и, наклонившись, прислушался.

Шестьдесят секунд могут тянуться очень долго, а молчание продолжалось больше; Браун все еще стоял у двери, прислушиваясь. Инга была рядом со мной, но я на нее не смотрел, а пытался разобраться в том, что же тут происходит.

Перед людьми моей профессии иногда встает исключительно сильный соблазн рискнуть и все поставить на карту. Именно в таком состоянии я сейчас находился. Однако мы никогда не рискуем вслепую. Перед тем, как принять решение и пойти на риск, тем более значительный, мы должны быть хоть в чем-то уверены или твердо что-то знать. Сейчас же дело обстояло так.

Я теперь знал, почему за "Брюннен-баром" не велось наблюдения в тот вечер, когда Октябрь был у Инги. Теперь я знал, почему был убит Солли. Я понял, почему Инга была сегодня в красном. Я понял также, почему так легко и просто мне дали ознакомиться с документами о подготовке операции "Трамплин".

И все же человек иногда в результате недостаточного обдумывания делает выводы, которые ему кажутся бесспорными. Бывает и так, что факты, имеющиеся в нашем распоряжении, настолько идеально подходят друг к другу, что мы отбрасываем некоторые детали, считая, что они нарушают общую картину или вообще являются лишними. Вот поэтому так трудно сделать решительную ставку, и ясно, что такой риск должен быть тщательно рассчитан.

Браун выпрямился и от двери подошел к нам.

— Я очень легко пугаюсь, — шепотом сообщил он, — но ничего не могу с собой поделать. Я мог бы действовать более эффективно, если бы так не боялся.

— Ничего, у вас и сейчас получается неплохо, — ответил я, показывая взглядом на папку.

Это, видимо, ободрило его, и он спросил:

— Вы передадите это своим?

— Да, как только получу подтверждение. Начальство требует, чтобы мы проверяли информацию сразу после получения ее от первичного источника. Содержание этой информации таково, что времени у нас в обрез.

— Да, но как же вы получите такое подтверждение?

— Отправлюсь в центр "Феникса". Теперь мне известно, что он находится в доме у Грюневальдского моста. Уголкем глаза я заметил, как вздрогнула Инга.

19. ЛЖЕСВЯТЫНЯ

— Но вы же не уйдете оттуда живым! — воскликнул Браун. Инга снова вздрогнула. Я взял папку, но Браун поднял руку.

— Прошу вас, не ходите. Если вы все же решите пойти, умоляю — не берите с собой папку.

— Не беспокойтесь, я не скажу, откуда она у меня.

— Герр Квиллер, вы не понимаете... Руководители "Феникса" начнут выяснять, кто похитил папку, и обнаружат, что она побывала в руках у меня и Инги. Прошу вас, — повторил он, волнуясь.

— Ну, хорошо, — ответил я и бросил папку на столик. — Вы сможете показать ее мне после моего возвращения?

— Вы не вернетесь, — вздохнул Браун и умоляюще взглянул на Ингу.

Она повернулась и вышла из комнаты, но тут же возвратилась уже в пальто полувоенного покроя, в котором она могла сойти за кого угодно — за мужчину, несмотря на шапку волос яркого цвета, за женщину или за языческую Жанну д Арк.

— Мы идем вместе, — заявила она.

— Но, Инга... — беспомощно пролепетал Браун и зажмурился.

Он не двинулся с места, когда мы вышли из квартиры. Кто-то в лифте уже закрывал дверцу кабины, но, увидев нас, задержался, чтобы мы могли спуститься вместе. В отделанном мрамором безлюдном вестибюле мы пропустили его вперед в качестве ответной любезности; от стен гулко отражались звуки наших шагов.

Мы пошли по мостовой, но вскоре услышали за собой чьи-то торопливые шаги и оглянулись. Нас догонял Браун.

— Герр Квиллер — начал он, но, видя, что мы не обращаем на него внимания, замолчал, успев лишь сказать еще: — Инга...

Мы подождали такси, он уселся в машину вместе с нами. Вечер был прохладный и ясный, и я хорошо видел улицы, по которым мы проезжали. Люди занимались своими делами, ярко горели огни, словно они никогда не гасли и никогда в будущем не погаснут, однако недалеко отсюда, у разделявшей город стены, в развалинах, на ничейной земле, я часто видел кроликов, сновавших среди колючей проволоки в тени железобетонных дотов. Интересно, что и в Лондоне между Пикадилли и Лейстер-сквер тоже есть такой же тихий уголок, где спокойно резвятся кролики, не боясь человека.

— Грюневальдбрюк, — сказал я таксисту.

Кеннет Линдсей Джоунс тоже был близок к цели, и ему "удалось узнать кое-что о местонахождении их штаб-квартиры". У него сложилось "исключительно сложное положение", и он предупредил Центр, что, возможно, не сможет отправлять донесения и даже слушать передачу "Биржевого бюллетеня". Джоунс попытался проверить полученную им информацию, и нацисты, опасаясь, что он все же проникнет в их штаб-квартиру, застрелили его и сбросили в Грюневальд, находящийся к ним ближе всего. И меня они сбросили в то же озеро.

Сейчас мы ехали к дому у моста с одиноким платаном рядом; я видел этот платан из окна, когда был привязан к обитому парчой креслу.

Слева от нас оказалась полоска воды; я принялся считать улицы с другой стороны, начиная от Вердерштрассе, которую запомнил. Браун зашевелился, нагнулся к таксисту и велел ему остановиться.

— Дальше я не поеду, — заявил он. — Мне все время будет казаться, что вы проговоритесь и выдадите меня, и в ожидании этого я умру от страха. Ради бога, не проговоритесь... — Он выбрался из такси.

Единственная видная сейчас звезда и мост, соединявший берега горловины озера, остались слева от нас: дом, стоявший на другой стороне, был погружен в темноту. Около платана светил уличный фонарь.

— Отсюда мы можем пойти пешком, — предложил я Инге.

Инга сидела выпрямившись, и ее лицо в темноте казалось безжизненным. Я вышел из машины, расплатился с водителем и подождал Ингу. Выходя, она чуть не упала, словно ее не держали ноги. Я понимал ее самочувствие.

Инга, видимо, хотела что-то сказать, но передумала: мы были не одни. Такси умчалось, но недалеко от нас двигались какие-то тени. Вечер был такой тихий, что мы могли слышать самый слабый шепот. Звуки

становились еще более отчетливыми, если мы останавливались. Мы вместе вошли в ворота, затем в дом; из тени от винтовой лестницы, освещенной лампочкой над дверями, показался человек, позади нас — другой; все мы молча поднялись по ступенькам.

Раздался стук закрывшихся дверей, у меня мелькнула мысль, что карты сданы, игра началась, я сделал свою ставку и должен нести ответственность за последствия.

Казалось, что никто не знает, что с нами делать; в комнате было три двери, у каждой стоял человек в темном костюме, но ни один из них на нас не смотрел. На этот раз в огромном, скудно, как в монастыре, обставленном холле украшений в стиле барокко не было.

— Покажи мне свое святилище, — сказал я Инге, полагая, что это заставит ее взять себя в руки.

Зрачки больших глаз Инги от света расширились и сжимались. Она отступила от меня на шаг.

— Ты все еще надеешься выбраться отсюда живым? — спросила она.

— Да.

Инга промолчала. Она хотела что-то сказать, но откуда-то издали послышались шаги. Судя по приближавшимся к нам звукам, в ногу шли двое, так и не научившиеся ходить иначе.

— Следуйте за нами, — распорядился один из пришедших.

Пятнадцать ступенек лестницы, мезонин, еще десять ступенек... Сведения механически регистрировались в памяти вместе с другой информацией: от платана до ворот — шесть шагов; ворота высотой футов шесть, закрываются засовами на подшипниках; от ворот до большой винтовой лестницы — двадцать семь шагов; кустарник может быть хорошим прикрытием; на фасаде дома — два балкона; от двойных дверей до другой лестницы — девятнадцать шагов и так далее...

Мы прошли еще через несколько дверей, на которых мелькали наши тени.

Наконец, наши провожатые постучались и попросили разрешения войти. Получив разрешение, данное лающей скороговоркой, они щелкнули каблуками, и я вновь услышал отвратительное хрюканье: "Хайль Гитлер!" — от которого был избавлен все последние двадцать лет. Распахнулись двери, и я понял, что опять попал в "третий рейх".

На этот раз мы оказались в оперативной комнате, очень похожей на командный пункт, а не в той, в которой я был раньше. На стене от пола до потолка висела карта Европы футов в тридцать шириной, освещенная несколькими сильными лампами. Часть комнаты занимал огромный стол-планшет, закрытый чехлом. Большие занавеси из черного бархата с бело-красной свастикой на них скрывали одну из стен. Над письменным столом, за которым сидел полный человек, висел написанный масляными красками портрет, искусно освещенный лампочками, скрытыми в выпуклой раме; сходство было неплохим, хотя линии безвольного в жизни рта умело изменены, а к выражению глаз добавлены признаки человечности, которой они никогда не отличались. В нижней части рамы выпуклыми позолоченными буквами готического шрифта было написано: "Наш великий фюрер".

Помимо толстяка за столом, в комнате находилось еще шестеро в черных сорочках с золотыми свастиками на груди; одним из них был Октябрь. Он тут же подошел к нам.

Из кармана пальто Инга вытащила черную папку и передала ее Октоберу.

— Он ознакомился со всеми документами, — сообщила она. — Со всеми без исключения.

Октябрь взял папку обеими руками. Впервые я заметил, что он не решается заговорить, и, хотя его ничего не выражавшие глаза смотрели на меня, я не мог отделаться от впечатления, что фактически он не сводит их с человека, сидящего за столом. Октябрь находился в высочайшем присутствии начальства.

— Докладывайте, — приказал он Инге, которая стояла несколько в стороне от меня и смотрела только на него.

— Господин рейхсфюрер, меня посетил Браун. Ему удалось добыть эту папку; он хотел, чтобы Квиллер ознакомился с ее содержанием и сообщил об этом резидентуре. — Отраженный картой свет лампы золотил ее волосы; она стояла, выпрямившись и держа каблуки вместе. — Я не могла этому помешать, господин рейхсфюрер. Мне было приказано в отношениях с Брауном играть роль перебежчицы. Он...

— Подождите! — распорядился человек за столом: это прозвучало как негромкий выстрел из револьвера.

Я внимательно всмотрелся в его хищное лицо с цепкими, жаждущими добычи глазами и длинными тонкими губами, растянутыми, подобно латинской букве "H", между натянутыми щеками-мешками. — Говорите точнее.

Инга еще более вытянулась:

— Слушаюсь, господин рейхслейтер. Браун связался со мной и попросил устроить ему встречу с Квиллером. Я доложила об этом рейхсфюреру Октоберу, и он санкционировал встречу. Я позвонила Квиллеру и попросила зайти ко мне. Браун пришел первым. За несколько минут до появления Квиллера

Браун показал мне папку и сообщил, что намерен передать ее Квиллеру. Я не могла помешать ему это сделать, не считая возможным в его присутствии звонить рейхсфюреру Октоберу. Правда, меня это не очень встревожило — я знала, что за местом встречи ведется тщательное наблюдение и Квиллер не доберется до своей резидентуры с папкой...

— Подождите!

Инга немедленно умолкла.

— Вы знали, что все это связано с определенным риском. Вас действительно информировали, что за вашим домом ведется тщательное наблюдение, но вы были обязаны позвонить по телефону для получения

указаний, вытекающих из сложившейся ситуации. Почему вы не выполнили этого распоряжения?

— Браун и Квиллер сразу бы поняли, что я только играю роль перебежчицы. Господин рейхслейтер, я считала очень важными полученные мною раньше указания завоевать доверие Брауна и особенно Квиллера. Поэтому я самостоятельно приняла решение, которое диктовалось обстановкой.

Инга умолкла.

— Продолжайте.

— Благодарю вас, господин рейхслейтер. Я решила доложить обстановку по телефону сразу же после ухода Квиллера. Мой дом находится под наблюдением, и я считала, что смогу немедленно передать по инстанции любые указания, полученные мною, что даст возможность задержать Квиллера и изъять у него папку. Никакой необходимости в этом не оказалось. Он сообщил нам о намерении проникнуть сюда для проверки информации, содержащейся в папке. Причин этого я не понимала, но видела, что он действительно принял такое решение. Я поехала вместе с ним; если бы он попытался связаться со своей резидентурой, я немедленно поставила бы в известность наших людей, ведших за нами наблюдение, и они

помешали бы ему сделать это. Прошу вас, господин рейхслейтер, принять во внимание, что мои действия диктовались только желанием как можно лучше выполнить ваше приказание.

На лице Октобера, не спускавшего с нее глаз, появилось довольное выражение. Он непосредственно руководил Ингой, как агентом, и отвечал за все ее ошибки.

Как мне показалось, и остальные вздохнули с облегчением. Рейхслейтер помолчал, а потом спросил у меня:

— Вы читали документы в этой папке?

Я мог придерживаться одной из трех возможных линий поведения: заупрямиться, встревожиться или сказать глупость. После моих встреч с Октобером нацисты, естественно, ожидали, что я буду упрямым.

— Да, читал.

— Почему вы решили появиться у нас?

— Для получения подтверждения, что это не дезинформация, и для проверки самого Брауна, которого я раньше не знал.

— И теперь вы считаете свою миссию законченной?

— Да.

— Почему у вас создалось впечатление, что вы уйдете отсюда так же свободно, как и пришли?

— У меня есть опыт и необходимая подготовка для того, чтобы выбираться из опасных положений.

Некоторое время рейхслейтер сидел молча, небрежно положив на стол короткие и пухлые, как у ребенка, ручки с розовой кожей, предназначенные для того, чтобы держать мертвой хваткой все, к чему он

прикасался. На пальце у него было кольцо, похожее на мертвый голубой глаз.

— Незадолго до вашего прихода, — равнодушно продолжал он, — мы получили донесение от нашей агентуры в Северной Африке. Ядерное испытание назначено на двадцать три часа и состоится через двадцать минут. Целями этого взрыва, производимого так поздно, в частности, является определение эффекта радиоактивности и характеристики поля рассеивания осадков в темноте. — Он встал, и, тяжело ступая, подошел к столу-планшету. — "Трамплин" тоже ночная операция, и поэтому мы решили воспользоваться такой превосходной возможностью. В течение семи часов весь район Средиземного моря будет в темноте и, по сообщениям телеграфных агентств, покрыт облаком радиоактивной пыли. Такие сообщения несомненно, вызовут хаос и панику в мире, и еще до начала операции мы окажемся полными хозяевами всего района.

Он сдернул чехол, прикрывавший стол-планшет.

— Можете ознакомиться с радиоактивной обстановкой.

Я подошел к столу, на котором лежала рельефная карта района Средиземного моря. На восточном побережье Испании в "пальце" Италии красными цифрами были обозначены сконцентрированные здесь

части. Гибралтар, Алжир, Ливия, Кипр и Сицилия были выкрашены в синий цвет.

Я посмотрел на карту, а обернувшись, обнаружил, что нацист не сводил с меня выцветших светло-голубых глаз.

— Ну-с, герр Квиллер, — что вы теперь скажете?

Я взглянул на часы, висевшие на стене.

— Браун слишком поздно передал мне папку.

— Вот именно. Никаких дат и часов в папке, разумеется, нет, а сам Браун их не знал. Все наши части находятся на местах в боевой готовности. Через шестнадцать минут произойдет испытательный ядерный взрыв. Через девяносто минут после сообщения о том, что в процессе испытания произошла ошибка, в районы операций будет переброшено транспортной авиацией в десять раз больше войск, чем сейчас. Командующие этими частями немецкие генералы ожидают приказа о выступлении. — Он отвернулся от стола. — Вы ничем не можете помешать этому. Мы находимся перед началом операции, которую тщательно планировали семь лет, и вам не удастся сорвать ее за четверть часа. Надеюсь, у вас достаточно здравого смысла, чтобы это понять.

В комнате воцарилась полнейшая тишина.

— Вы меня не убедили, — заметил я. Он повернулся ко мне, и его глаза, казалось, превратились в узенькие блестящие щели.

— Я и не намерен вас убеждать, герр Квиллер. Вы лишь крохотная пылинка в гигантском шторме, который разразится через несколько минут. Я горжусь "Трамплином". Я задумал эту операцию и подготовил ее. Как видите, никто и ничто не сможет помешать ее успешному осуществлению. Через несколько минут мы получим соответствующее сообщение, а затем дадим сигнал начать операцию. Потом мы освободим вас, и это поможет вам еще раз убедиться, что вы бессильны. Никакой пользы своей разведке вы теперь не принесете; мне вы не нужны и не стоите даже того, чтобы тратить на вас пулю. Он вернулся за свой стол.

Молчание нарушила Инга. Теперь уже она стояла перед столом.

— Господин рейхслейтер, — хрипло сказала она, — позвольте мне убедить этого неверующего.

Разрешите мне показать ему нашу реликвию!

Человек, сидевший за столом, молча и равнодушно взглянул на Ингу и жестом разрешил ей сделать это.

Инга провела меня к стене комнаты, на которой висели занавеси из черного бархата со свастикой, остановилась и выпрямилась.

— Ты просил меня показать нашу святыню.

Очевидно, кто-то нажал кнопку, занавеси раздвинулись, и за ними оказалась ниша, освещенная пламенем, горевшим в красной мраморной чаше, и в нише хрустальный сосуд с золой, в котором белели какие-то кости.

Существует много сообщений на эту тему. В свое время было очень трудно найти каких-либо надежных свидетелей, уцелевших при падении Берлина. По всей вероятности, трупы Гитлера и Евы Браун были сожжены вечером 30 апреля 1945 года в саду имперской канцелярии, но останков обнаружить не удалось, так как их якобы собрали в ящик и передали вожаку гитлеровской молодежи Аксману, то есть новому поколению нацистов.

Это и была так называемая "святыня" неонацистов. Я наблюдал за лицом Инги, отражавшимся в хрустале. Она не шевелилась, молча и пристально всматриваясь в свое отображение. Я понимал, что она и раньше приходила сюда и, стоя вот так же, вспоминала и агонию сумасшедшего фюрера в его бункере, и метавшихся там же "полубогов" своего детства, в действительности оказавшихся еще более отвратительными чудовищами, чем те, что когда-то населяли мир ее сказок. Вместе с ними, под их влиянием, из невинного ребенка-эльфа она тоже превратилась в уродца и злобного оборотня с детским лицом. И вот сейчас от того, кого она так долго считала олицетворением всего святого, осталось лишь холодное стекло с навеки замурованными в нем чьими-то костями и кучкой грязной золы.

Внезапно отображение лица Инги исчезло, и вместо него я увидел лишь руку, выброшенную в знакомом жесте; стоя за мной, она пронзительно воскликнула:

— Хайль Гитлер!

В комнате раздался шепот. Я оглянулся: присутствовавшие одобрительно посматривали на Ингу. Черный бархат бесшумно сдвинулся.

Резко зазвонил телефон. Трубку взял рейхслейтер.

Послушав, он кивнул и, сказав: "Хорошо!", закончил разговор.

— Господа! — обратился он к находившимся в комнате. — Пожелаем друг другу успеха в наших усилиях.

Присутствующие окружили его и принялись пожимать ему руку. Октябрь что-то спросил, и, получив ответ, повернулся ко мне. Открывая и закрывая рот, подобно стальному капкану, он приказал нацисту, стоявшему у дверей:

— Задержанный может уйти. Передайте распоряжение дальше.

Направляясь к дверям, я взглянул на Ингу. Она молча отвернулась и присоединилась к группе около рейхслейтера.

Охранник у дверей пропустил меня и что-то прошептал человеку, который открыл нам дверь. Приказ передавался, пока я спускался по десяти ступенькам, проходил по мезонину, спускался еще по пятнадцати ступенькам, вышел в холл, через девятнадцать шагов оказался у входных дверей и, наконец, вышел на улицу.

Я шел один, и свет уличных фонарей отбрасывал мою тень на мостовую.

Я был свободен, как Кеннет Линдсей Джоунс в ту ночь, когда он вот так же вышел из этого дома...

20. ИНГА ЛИНДТ

Я шел к мосту. КЛД нашли в озере, но говорят, что его застрелили, прежде чем сбросить в воду. Где-то здесь, между тенями, среди которых я шел, он упал, сраженный пулей.

Я все еще верил в правильность своих соображений, на основании которых пошел на столь огромный риск, но если даже одно из них, пусть самое незначительное, не подтвердилось бы, мне тоже предстояло умереть здесь — не дома, не на перекрестке дальше по улице, не где-то далеко, а здесь и сейчас.

Иногда, идя на риск, пусть даже тщательно рассчитанный, мы чувствуем, что у нас возникает определенное ощущение. Мы думаем: ну что ж, меня могут убить, но если я предположу, что это уже произошло, мне нечего больше волноваться или тревожиться. Страх перед смертью лишь только усиливается в процессе ожидания ее.

Я уже подходил к мосту, когда из боковой улочки выехала машина и, набирая скорость, промчалась мимо; я почувствовал, как по спине у меня пробежали мурашки. Разумеется, мысль о том, что ты уже мертв и поэтому бояться нечего, помогает, но человек всегда человек.

На мосту, казавшемся цепочкой огней, под которой поблескивала вода, было тихо. За мной слышались шаги, но я не остановился. Ведь если нацисты решили убить меня, они могли стрелять и издали.

Шаги приближались, но я продолжал идти, прислушиваясь, и, наконец, понял. За мной торопливо шла женщина в ботинках на мягких подошвах.

— Квил...

Я остановился. Инга догнала меня, с трудом переводя дыхание, взглянула в глаза и сказала:

— Должна же я была делать вид перед ними.

— Конечно.

Она крепко сжала мою руку.

— Тебе это показалось ужасным?

— Ну... несколько истеричным.

Инга осмотрелась.

— Пожалуйста, верь мне. Я пришла, чтобы просить об этом. Верь мне.

— Я верю.

Если я останусь живым, мне придется представить Центру подробный отчет. В разделе "Инга Линдт" я сообщу все, что ее касается, за исключением несущественных деталей, и эта часть отчета будет выглядеть

так:

"Наша встреча произошла в Берлине в Нейештадтхалле. Линдт вышла из зала суда раньше меня и шла впереди. Вероятно, водитель машины, пытавшейся сбить меня, ждал ее сигнала, чтобы иметь время завести мотор и быть наготове. Тогда я не думал, что сигнал подала Линдт, но позднее убедился в этом".

(Октябрь, между прочим, заметил, что после того, как я несколько раз появился на судебных заседаниях, — но не в Нейештадтхалле, — его люди нарисовали мой портрет. После моего появления в Нейештадтхалле Линдт было поручено выйти оттуда передо мной и подать сигнал. Выше этого в отчете отмечается, что столкновение машин было организовано группой тоже из состава "Феникса", но действовавшей самостоятельно, и, следовательно, Линдт получила указание от них, а не от Октября.

Руководство организации приказало взять меня живым для допроса с "пристрастием", если потребуется.) После неудачной попытки нацистов убить меня Инга попыталась сделать вид, будто бы в действительности жертвой аварии должна была оказаться она. Я этому поверил. Потом она рассказала, что

ранее состояла в "Фениксе", но порвала с этой организацией. Ее сообщение о себе и о раннем периоде

жизни, видимо, соответствовало действительности, но у меня возникло подозрение, что она все еще находится под влиянием "Феникса" или даже по-прежнему состоит членом организации и выполняет ее поручения.

Мои подозрения подтвердились, когда она "между прочим" в разговоре упомянула, что Ротштейн в Берлине. Я решил: 1) Инге известно, что я когда-то знал его; 2) ей поручено "случайно" упомянуть его фамилию; 3) она предполагала, что я заговорю о нем, но разговор на эту тему не состоялся.

Я принял решение навестить Ротштейна, выяснить, знает ли он что-нибудь о "Фениксе", и предупредить, что нацистам он известен. В лаборатории нам переговорить не удалось. Ротштейн, видимо, хотел что-то сообщить мне, но не решился это сделать при своих ассистентах, а о новой встрече мы не договорились.

Обстоятельства смерти Ротштейна и моей ответственности за нее (по халатности) даются в соответствующем разделе отчета. Необходимо лишь подчеркнуть, что мой визит к нему (как непосредственный результат упоминания Ингой Линдт его фамилии) серьезно усилил подозрения против него со стороны руководства "Феникса". Если бы я не посетил его, руководители "Феникса" могли подумать, что никакой связи между нами нет и не было, и, возможно, отказались бы от своих подозрений. Упоминание Ингой Линдт фамилии Ротштейна привело к тому, что нацисты его убили, а я убедился, что Линдт — агент "Феникса".

Я решил, что не буду мешать Линдт играть роль перебежчицы, работающей против "Феникса", делая вид, что полностью ей доверяю. К тому же я почувствовал, что она нравится мне, однако это не отразилось на выполнении мною задания. Я надеялся, что в личном общении с Линдт смогу получить дополнительную информацию о "Фениксе".

Подробное описание попытки Октобера заставить меня говорить в квартире Линдт содержится в разделе отчета под заголовком "Допрос". (Я отмечаю там, что Линдт находилась в соседней комнате и по распоряжению Октобера, с целью психологического давления на меня, делала вид, что ее пытаются.) Как мне

кажется, именно тогда с Линдт произошел коренной перелом. Все мои действия в дальнейшем исходили из того, что в ней этот перелом произошел, и мне следует подробно изложить здесь, почему я сделал такой

вывод, хотя любой профессиональный психолог легко может отвергнуть его.

Линдт была помешана на концепции всепобеждающей и непреодолимой силы. В детстве ей, так же как и миллионам ее соотечественников, внушили слепую и фанатичную веру в Адольфа Гитлера. После самоубийства этого маньяка, несмотря на психологическую травму, полученную в результате того, что Линдт оказалась в последнем убежище Гитлера, она сохранила эту веру и охотно поддалась обработке неонацистов из организации "Феникс", в самом названии которой содержится прямой намек на то, что фюрер возродится из пепла, подобно сказочной птице. Линдт по-прежнему обожествляла его, верила в его

всемогущество и примкнула к людям, которых считала сильными, решительными и непреклонными.

(Рейхсфюрер организации Октобер мог создавать о себе такое впечатление.) Во время моего допроса Октобером, после того как, по его мнению, моя сопротивляемость была ослаблена пытками Линдт, якобы происходившими в соседней комнате, в ее сознании произошло психологическое сопоставление, в результате которого она полностью отказалась от своих прежних убеждений. В процессе допроса я вел себя, исходя из понимания, что 1) никаким пыткам она не подвергается и лишь участвует в применении метода, с помощью которого Октобер надеется заставить меня говорить; 2) я должен делать вид, что будто верю, что Линдт пытаются; 3) мне следует выбраться из создавшегося положения, не выдавая своей уверенности в принадлежности Линдт к "Фениксу", с тем чтобы в будущем попытаться получить через нее информацию об этой организации.

Линдт решила, очевидно, что встретила с таким же сильным, решительным и непреклонным человеком, как Октобер, когда услышала, как я заявил ему, что он может убивать ее, но все равно не заставит меня говорить. (Она, наверное, знала о его безуспешной попытке получить от меня информацию под наркозом, и это явилось для нее дополнительным доказательством моей силы воли.) Следует отметить, что Линдт всегда покорно следовала за волевыми и решительными людьми своего лагеря, а тут впервые встретила такого же человека из стана врагов и влюбилась в него, а это, несомненно, серьезно повлияло на ее состояние. Таким образом, она внезапно оказалась со мной в одном лагере, то есть тоже стала противником "Феникса". Рыдания Линдт, которые я слышал после того, как пришел в сознание, наверное, объяснялись недоумением по поводу происшедшей с ней перемены и боязнью мести от столь беспощадной и скорой на расправу организации, как "Феникс".

Из осторожности я, разумеется, ничего не сказал Линдт и продолжал себя вести в соответствии с ее

ожиданиями, то есть позвонил врачу и попросил его прийти. Я предполагал, что этим врачом будет надежный и проверенный член "Феникса", которому Линдт просто скажет, что никакой необходимости в его услугах нет, поскольку была лишь разыграна сцена, будто бы ее пытали. Кровь на Линдт (она должна была доказать мне, что ее действительно пытали) была получена из небольшого пореза на мочке уха. Во время следующей встречи я специально обратил на это внимание и видел еще не зажившую ранку. Перед тем как уйти от Линдт, я решил проверить мое предположение об окончательном переходе ее на нашу сторону, написал на бумажной салфетке номер телефона и сказал, что при желании она может позвонить мне по нему. Этот номер я взял наудачу из телефонного справочника, когда вызывал врача; принадлежит он бару под названием "Брюннен". В тот вечер я специально побывал в "Брюннен-баре", но ни активного, ни пассивного наблюдения там не обнаружил, а это доказывает, что Линдт не сообщила "Фениксу" номера телефона. Этот ее поступок, как мне кажется, дополнительно подтверждал, что она действительно стала моей искренней помощницей.

Примерно в то же время Октобер решил прибегнуть к иной тактике. Фабиан (см. выше) рассказал ему о методах успешного получения в Дахау информации от заключенных, знающих о своей неминуемой смерти. Исполнение смертного приговора в таких случаях откладывалось в последний момент, а затем, пока заключенные все еще находились под впечатлением неожиданной отсрочки, создавались условия, при которых они могли надеяться на интимную близость с женщиной. Совсем недавно я побывал в таких же условиях, и нацисты полагали, что, придя в сознание у Грюневальдского моста (то есть после "отсрочки"), я обязательно появлюсь у Линдт. Октобер находил этот метод весьма перспективным, считая, что я неравнодушен к Линдт.

Недоумение и страх помешали тогда Линдт рассказать мне, что она порвала с "Фениксом". Ей вообще было трудно это объяснить, тем более что она еще раньше сказала мне, что давно ушла из "Феникса". Возможно, она пообещала Октоберу применить предложенную им тактику, желая лишь, чтобы он оставил ее в покое и поскорее ушел.

Слежка за мной с того вечера стала менее тщательной. Например, моя встреча с Полем и поездка в парк прошли без наблюдения. Я решил, что противник предоставляет мне большую свободу действий в надежде, что я несколько успокоюсь и в таком состоянии снова встречу с Линдт, которая применит ко мне новую тактику. Однако я не проявил инициативы для встречи с ней. Руководители "Феникса" потеряли терпение и, не желая больше ждать, приказали ей связаться со мной и пригласить к себе. Я пришел и встретился у нее еще с одним агентом "Феникса" — Хельмутом Брауном. (Примечание: Линдт была во всем красном, хотя раньше я видел ее только в черном. Вероятно, это явилось подсознательным выражением происшедшей в ней перемены: красное олицетворяет жизнь, а черное — смерть. Во всяком случае, я воспринял это как дополнительное доказательство правильности своего предположения о том, что она порвала с "Фениксом" и действительно перешла на нашу сторону). Далее я подробно напишу о Брауне".

Я слышал плеск воды у опор моста. Где же Хельмут Браун? Однако мне было трудно думать о нем, когда Инга стояла рядом.

— Нам некогда. Квил, разговаривать. Ты веришь мне?

— Да, верю.

— Тогда мы вместе. — Она взяла меня за руку, и ее глаза в свете фонаря заблестели.

— Ты уходишь от них?

— Убегаю. Не знаю, когда тебе стало известно, что я работаю на них, но теперь ты знаешь, что я порвала с ними.

— Не так давно.

— Но я уже не изменюсь. Они заподозрили меня, и я вынуждена была разыграть там эту комедию. Я почувствую себя в безопасности, если пойду с тобой. Возьми меня.

— Я иду в резидентуру. Возможно, операцию "Трамплин" еще можно сорвать, если начало ее реализации удастся несколько задержать. Я видел их физиономии, знаю их фамилии. Я обязан послать донесение.

— Возьми меня с собой. Куда бы ты ни пошел, с тобой я в безопасности. Ты — моя жизнь, Квил.

— Не могу. Риск по-прежнему велик. Руководители "Феникса" заявили, что помешать им уже поздно, однако они понимают, что в любом случае я все равно попытаюсь связаться со своими. Риск состоит в том, что они постараются помешать мне.

Лицо Инги помрачнело.

— Ты не возьмешь меня с собой?

— Не могу, опасно.

— Это значит, что ты мне не доверяешь. — Инга убрала свою руку с моей.

Я взглянул мимо Инги вдоль моста, а затем снова ей в лицо.

— Я верю тебе, и ты сейчас в этом убедишься. Люди "Феникса" убьют меня, если я попытаюсь отправить донесение в резидентуру. Я погибну, и, если ты не поможешь мне, мое сообщение не попадет по назначению.

Инга подняла голову. Я улыбнулся ей, чтобы успокоить ее, но она не ответила мне и промолчала.

— Запомни номер телефона — 02-89-62, — продолжал я и заставил ее повторить его несколько раз.

— Октябрь оставит тебя в покое; твоя демонстрация, наверное, показалась ему убедительной. Ты располагаешь большей свободой, чем я. Позвони по этому телефону, назови пароль "Фокстейл" и расскажи все, что ты знаешь о "Трамплине", а потом попроси защиты. Ты будешь в безопасности, как только попадешь к моим коллегам.

— В таком случае... Но мы увидимся снова?

— Да, если уцелеем.

Я поцеловал ее, повернулся и быстро, не оглядываясь, пошел через мост. Я знал, что всегда буду ее помнить такой — изящной, стройной, торжествующей, в полувоенном пальто, со светом, играющим на пышной шапке волос.

Минут пять ей потребуется, чтобы вернуться в дом и доложить о нашем разговоре своему рейхслейтеру, а ему еще минут пять — позвонить по этому номеру и убедиться, что он фиктивный. Я получаю десять минут относительной свободы и возможность сохранить себе жизнь.

21. ЖИВАЯ МИШЕНЬ

В призовых состязаниях по стрельбе бывает так, что голубь с силой выбрасывается из специальной клетки, а затем его убивают выстрелом на лету.

Вот сейчас в таком положении находился я.

Пройдя мост, я остановился на несколько минут, ориентируясь в местности, а затем повторил это в Целлендорфе.

Один из них прятался в тени, ярдах в семидесяти пяти. Другой поджидал меня несколько ближе — ярдах в пятидесяти в противоположном направлении. (Как и в военном деле, у нас это называется "клещами" — в дополнение к "хвосту", следующему позади объекта, другие филеры идут по параллельным улицам, держась все время впереди того, за кем ведется наблюдение; для применения подобной системы нужно очень много квалифицированных филеров.) Третий филер находился недалеко от первого. Я не видел его, но знал, что это так, — на перекрестке остановилось такси, из которого никто не вышел.

Часы пробили одиннадцать. Я терпеливо считал минуты, удары, чувствуя, как успокаивает меня их размеренность. Прошло полчаса, как я пересек мост, и за это время мне попались на глаза только пятеро людей "Феникса".

Я делал вид, что не спешу. Донесение в резидентуру я был обязан отправить до рассвета и сделать так, чтобы "Феникс" не знал этого. На пути от моста я уже прошел четыре кабины телефонов-автоматов, но воспользоваться ими не смог. Даже если я позвонил бы и попытался что-то сказать, пользуясь кодом, меня бы немедленно пристрелили. Затем один из нацистов из этой же кабинки связался бы с кем-нибудь из людей "Феникса" в берлинской уголовной полиции, поручил немедленно установить, по какому номеру отсюда сейчас звонили, кому принадлежит тот телефон, и где находится. После того, как адрес нашей берлинской резидентуры будет установлен, "Феникс" сейчас же направит туда группу вооруженных людей,

чтобы захватить все документы и работников.

"Феникс" готовился к крупной операции, но начать ее не мог, не зная, что нашей разведке известно о ней. Успех подобной операции целиком зависит от полной секретности или от внезапности, а точнее, от того и другого вместе. Ведь сказал же мне Поль: "Если вам удастся помочь нам разоблачить "Феникс", вы спасете миллионы жизней, но почти наверняка потеряете свою". Он заявил: "Информация нам очень нужна, но она носит особый характер. Мы хотим знать, где находится и откуда оперирует штаб-квартира "феникса". В свою очередь руководство "Феникса" жаждет получить информацию о нас, и в особенности выяснить, что мы знаем об их намерениях. Руководители "Феникса" прекрасно понимают, что скорее и проще всего они могут узнать это от вас". Он добавил: "Ваше задание заключается в том, чтобы приблизиться к противнику и сообщить нам, какую позицию он занимает".

Я уже говорил, что признал, хотя и не сразу, правильность сообщения Поля и сейчас верил ему. Он и мои коллеги, очевидно, ожидают сообщения от меня в комнате на девятом этаже здания на углу Унтерден-Эйхен и Ронер-аллеи, а радисты поддерживают прямую связь с Лондоном. Этого же сообщения ждет

и "Феникс", с тем чтобы установить адрес нашей берлинской резидентуры и разгромить ее, прежде чем она

примет меры к ликвидации "Феникса" и его центра.

Теперь уже не оставалось сомнений, что "Феникс" действительно готовился начать крупную операцию и сейчас его руководители предпринимали огромные усилия, добиваясь от меня информации, столь необходимой им. Я был уже третьим разведчиком, получавшим от своего руководства одно и то же задание. Люди "Феникса" позволили Чарингтону слишком приблизиться к организации, а потом поскорее его убрали. Кеннет Линдсей Джоунс добился большего и был убит на расстоянии винтовочного выстрела от штаб-квартиры "Феникса". Мне позволили проникнуть в святая святых организации и пока отпустили живым, идя на такой же огромный риск, на какой пошел я.

Я не сомневался, что Джоунса убили после того, как ему удалось поговорить с кем-то из "Феникса", а нацисты, узнав об этом, трусили и убили их. (Даже в Берлине не так легко отделаться от трупа. Вероятно, фашисты успели утопить в озере своего человека, но сделать это с Джоунсом им, наверное, помешали.) Не исключено, что ему тоже дали возможность посетить штаб-квартиру, а затем отпустили, однако возможность передачи им в нашу резидентуру добытой информации оказалась настолько серьезной, что его ликвидировали, поскольку он мог узнать больше меня, если ему удалось завербовать агента из руководства "Феникса". И все же руководители организации сейчас вновь шли на огромный риск: до начала операции оставалось совсем немного времени, и нацистам во что бы то ни стало хотелось узнать адрес нашей берлинской резидентуры, которая могла им все сорвать.

Эта обстановка сложилась, видимо, в результате действий Октобера. Его терпение, очевидно, иссякло после того, как Инга доложила ему о том, что не смогла получить от меня информацию, хотя, как было приказано, она применяла методику, разработанную в Дахау. Он решил подбросить мне папку с подборкой

хорошо сфабрикованных документов о "Трамплине".

Возможно, что трюк с "документами" был уже испробован на Джоунсе, и в таком случае я был жив сейчас только потому, что не имел в центре "Феникса" своего агента-внутренника. Не исключено, что тогда у нацистов не хватило филеров, чтобы организовать за Джоунсом и его агентом такое наблюдение, которое предотвратило бы передачу им информации нашей разведке. Сегодня же вечером вели за мной слежку пятеро, а может быть, и больше.

"Трамплин" на бумаге выглядел неплохо; нацисты, конечно, понимали, что далеко не каждый разведчик — эксперт в вопросах стратегии. Однако мне все же удалось обнаружить в "документе" некоторые неправильности, и именно тогда-то я пошел на риск, предполагая, что папка подсовывается лишь для того, чтобы вынудить меня немедленно действовать, то есть схватить ее и со всех ног броситься в резидентуру, заботясь только о том, чтобы благополучно туда добраться.

Брауна я раньше не встречал и вообще о нем ничего не знал. Я не сомневался, что Инга теперь на нашей стороне, но боится выдать себя перед Брауном. Мне кажется, что она предупредила бы меня о том, что папка "Трамплин" — фальшивка, если бы имела возможность сделать это. Однако такой возможности ей не представилось. Вначале ей помешал Браун, потом человек в лифте, а затем опять Браун в такси. Он явно встревожился, услышав о моем намерении отправиться в штаб-квартиру "Феникса", так как никаких указаний на сей счет заранее не получил. Браун задержался у Инги и быстро переговорил по телефону со своим начальством или же предупредил кого-нибудь из теперь уже многочисленных филеров в этом районе. Как бы там ни было, но центру "Феникса" пошло сообщение: "Квиллер направился к вам". Несомненно, это нарушило планы нацистов. Они установили тщательное наблюдение за домом, дали мне папку с "очень важными документами", которые я, по их расчетам, должен был немедленно доставить

в резидентуру, а вместо этого я направился к ним!

Браун вышел из такси первым, тайком от меня (он же был "перебежчиком"!) встретился с Октобером и доложил, что я нахожусь у дома. Октобер решил продолжать игру. Я прочитал "документы", хотел проверить достоверность информации, содержащейся в них, и, разумеется, должен был получить подтверждение на этот счет.

Пока мы с Ингой ждали в холле, в оперативном зале на стол-планшет положили карту района Средиземного моря и сделали на ней соответствующие обозначения и пометки; на таких столах минут за десять можно показать любой из двенадцати-пятнадцати географических районов. Затем привели меня. Перебежчик во многом напоминает хамелеона и, подобно ему, принимает или пытается принять окраску окружения. Оказавшись после бегства в одиночестве, он бросает взгляд на все его окружающее, приходит в себя и, протрезвев, со всех ног бросается домой, откуда недавно сбежал.

Причины перехода из одного лагеря в другой чаще всего носят политический характер, но иногда

объясняются факторами материального, религиозного или даже романтического порядка. Инга перебежницей в подлинном значении этого слова не была, хотя сама себя считала ею, и все же, бросив взгляд на окружающее, со всех ног бросилась туда, где, как ей ошибочно казалось, находится ее дом, — в штаб-квартиру неонацистов.

Инга испугалась, когда я сказал ей, что отправляюсь в центр "Феникса". Раньше она предполагала, что тоже будет там присутствовать, лишь наблюдая за тем, как развернутся события, теперь же ей самой предстояло принять участие в них. С яростным фанатизмом раскаявшейся грешницы она намеревалась восстановить там утраченное было доверие к себе и переложить всю вину за приносимую жертву. Именно поэтому она вытащила папку из кармана пальто и, передав ее Октоберу, сообщила: "Он ознакомился со всеми документами. Со всеми, без исключения".

Нацисты, очевидно, уже начали ее подозревать в намерении порвать с организацией, и она, возможно, догадывалась об этом. Октобер, наверное, размышлял, почему в действительности она по-настоящему не попытается установить со мной такие отношения, которые дали бы ей возможность "опросить" меня по методам, столь успешно применявшимся в Дахау, и почему после эпизода с неудачно организованной аварией машины, когда Инга получила указание заняться мною, она ничего не узнала. Например, ей не доверили одной сопровождать меня в дом в Грюневальде — с нами отправился Браун, который ушел только после того, как его сменил находившийся поблизости филер. Инга знала об этом, и ее опасения усилились еще больше, а инсценированный ею припадок фанатизма перед "священным пеплом" представлял отчаянную попытку убедить руководство "Феникса" в ее ничем не поколебленной лояльности.

Я шел по пустынным улицам, и ночной холод успокаивающе действовал на меня, а только что покинутая штаб-квартира "Феникса" со свастиками на занавесях, точно воспроизводящая последнее логово фюрера, все более и более казалась мне сумасшедшим домом. Но обстановка сумасшествия в Западном Берлине была характерна не только для одного этого дома, и поэтому существование здесь центра нацистской организации, подготавливающей новую мировую войну, представлялось как нечто неизбежное.

Прошло полчаса, но мысль об Инге не покидала меня, и мне казалось, что я все еще ощущаю тепло ее губ. Я понимал, что обязательно должен найти ответ на мучивший меня вопрос о ней, хотя отразиться на моих действиях это никак не могло. Из трех возможных ответов наиболее вероятным был один: Инга выбежала из дома и догнала меня по своей инициативе, а не потому, что ее послали. Явившись со мной в штаб "Феникса", вручив там папку и воздав хвалу золе, оставшейся от их идола, она надеялась, что

убедила гитлеровцев в своей преданности, но не была полностью уверена в этом.

Нацистам требовалось срочно узнать точное местонахождение резидентуры нашей разведки в Берлине. Если бы Инга сделала это, она могла бы больше не бояться их мести — они снова приняли бы ее в свое лоно и даже вознаградили бы. Именно поэтому она осуществила еще одну, последнюю, попытку убедить меня, что порвала с "Фениксом" и теперь верит только мне ("Ты — моя жизнь, Квил", — сказала она).

Я сделал вид, что доверяю ей, потому что это было в моих интересах. Руководство "Феникса" будет действовать и дальше так, как оно это делает сейчас. Нацисты откажутся от своей тактики только в том случае, если убедятся, что я не верю в неизбежность операции "Трамплин". Эта их тактика представляла для меня большую опасность, но, во всяком случае, я о ней знал и мог противодействовать. Изменение же ими тактики сразу поставило бы меня в тяжелое положение.

Инга должна была бы доложить нацистам, что я действительно полностью убежден в подлинности всех материалов, относящихся к "Трамплину". Номер телефона, который я ей дал, никакого отношения к нашей берлинской резидентуре не имел. Я его просто выдумал. Нацисты позвонят по этому телефону и, если таковой номер действительно существует, выяснят, что он принадлежит какому-то неизвестному им абоненту. Разумеется, они не откажутся тут же от него, а проверят, не находится ли там тщательно законспирированная резидентура нашей разведки. Но даже и потом они будут думать, что Инга могла ошибиться, так как номер телефона я сообщил ей только устно и очень торопился. Все это лишь укрепляло мое убеждение, что нацисты будут и в дальнейшем применять тактику, которую они проводили сейчас. Правда, я не находил в этом утешения для себя — в конечном-то счете нацисты хотели убить меня. В штаб-квартире "Феникса" я находился в большей безопасности, чем сейчас на улице. Направляясь в тот дом, я не искал смерти, но вот сейчас, когда я покинул его, она шла за мной по пятам.

Продолжая размышлять, я заметил, что поблизости появился шестой филер — человек в светлом пальто. Теперь уже за мной следили, вероятно, человек двадцать, но только один или двое из них имели указание убить меня, а остальные только вели слежку открыто и служили "приманкой" для отвлечения

внимания. Это было вполне в стиле Октобера. Меня выпустили из ловушки и вели тщательную слежку, зная при этом, что я ее обнаружу, поскольку время было позднее, а улицы пустынные; не желая рисковать, Октобер бросил за мной чуть ли не толпу "хвостов". Вскоре они начнут отзываться один за другим, я выявлю до рассвета еще человек шесть и успокоюсь... еще до рассвета уговорю себя, что я наконец оторвался от наблюдения, и сделаю попытку связаться с резидентурой. После этого меня настигнет пуля убийцы, и все будет кончено.

Если филеры зафиксируют, что я разговаривал по телефону, со мной будет покончено немедленно. Если я долго не буду звонить, они встревожатся и, чтобы не рисковать, убьют меня, как в свое время расправились с Чарингтоном и Джоунсом. Я считал, что нацисты не будут продолжать слежку после рассвета, и поэтому решил, что с его наступлением они покончат со мной. Пока же, наша берлинская резидентура и Центр (впрочем, так же как и "Феникс") будут ожидать моего донесения.

Теперь-то я знал, почему с донесением Джоунса на встречу со мной пришел Поль. Меня хотели убедить в серьезности и важности моего положения.

22. В ТУПИКЕ

К четырем часам утра я понял, что проиграл. По существу, в Западном Берлине не осталось места, где бы мы ни побывали. Пешком и в такси мы несколько раз пересекли город с севера на юг — от Хермсдорфа до Лихтенраде, и с востока на запад — от Нейкель-на до Шпандау, проскочив при этом через семнадцать гостиниц и три вокзала, а в конце концов возвратились туда, откуда начали, — в Целлендорф.

Вскоре меня начали подводить глаза, и на светлых поверхностях передо мной поплыли искры. Глаза и нервы. До трех часов я оторвался от десяти "хвостов"; один из них так настойчиво шел за мной, что явно был не только "приманкой". Желая немножко отдохнуть, в двух отелях я начинал сочинять письма (самому себе), но ни разу не закончил их, так как почти тут же обнаружил за собой нового филера.

Пальто у меня было разорвано, а колено быстро распухало: на товарной станции Гауптбанхоф, пробираясь по обледеневшей земле между вагонами, груженными лесом, я поскользнулся и упал. Я потерял перчатку, на пальто недоставало пуговицы — я неудачно пытался перебраться через высокие железные ворота Каульсдальского кладбища.

Меня ни разу не оставляли одного на улице. Если я садился в такси, тут же появлялось другое, неотступно следовавшее за мной, а иногда сразу два-три. Поручать таксисту передать сообщение в резидентуру было бессмысленно — всякий раз, как только я менял машину, нацисты останавливали водителя и тщательно его допрашивали. Каждое такси в Берлине оборудовано двусторонним радиотелефоном, и я испытывал большой соблазн передать сообщение в резидентуру через станцию таксомоторного парка. И все-таки я не мог так поступить — это было бы роковой ошибкой: фашисты, меняя такси по ходу слежки, всякий раз приказывали своему водителю связаться с парком и просить фиксировать сообщения с такой-то машины. И этот путь исключался.

Вместе с компаньонами я снова оказался в Целлендорфе, а через два часа должен был наступить рассвет. Теперь меня сопровождали только трое, и я не сомневался, что им-то и будет приказано в конце концов разделаться со мной. Моя ночь оканчивалась. Как только рассветет, нацисты больше не позволят мне водить их. Они понимают, что днем среди людей и машин мне легче скрыться от слежки, а оставлять меня без наблюдения нельзя — я сейчас же отправлю донесение в резидентуру или свяжусь с ней, после чего штаб-квартира "Феникса" в Грюневальде будет немедленно разгромлена и нацисты ничего не смогут предпринять. У меня осталось часа два до того, как Октобер прикажет своим подручным убить меня. Инстинкт подсказывал, что я должен отправиться домой. Я так и сделал.

До Ланквитцштрассе, то есть около девяти километров, я доехал в такси, а оттуда отправился пешком. За мной пошли двое, а третий остановил моего таксиста и принялся его расспрашивать. В подъезде "Центральной" еще горел свет, и я вошел в гостиницу через эту дверь, а не через двор, где находились гаражи.

Ночной швейцар, чистивший башмаки, взглянул на доску для ключей. Я сказал ему, что ключ у меня в кармане; швейцар проворчал, что, уходя из гостиницы, следует оставлять ключ у дежурного администратора.

В номере я закрыл дверь на ключ и почти сразу же обнаружил следы тщательного обыска. Ничего взято не было, но те, кто обыскивал, даже протыкали иголкой тюбик зубной пасты в поисках, возможно, скрытой в нем микропленки.

Я не исключал возможности, правда очень маловероятной, все же отправить донесение в "Евросаунд", и поэтому минут двадцать потратил на то, чтобы описать местонахождение штаб-квартиры "Феникса" в Грюневальде и дать резюме всей истории с папкой сфабрикованных документов по операции "Трамплин". Однако подробнее всего я описал то, что теперь твердо называл "параллельным предположением", возникшим у меня после расшифровки документа Ротштейна. Документы в папке подтвердили некоторые

мои соображения, но в сообщении я был вынужден несколько мест подчеркнуть; на бумаге все это выглядело весьма маловероятно, и я опасался, что в Лондоне лишь мельком взглянут на мое творчество. Я утверждал, что "Феникс" в своих действиях должен руководствоваться по меньшей мере четырьмя соображениями, а именно: 1) наличием благоприятной возможности; 2) обстановкой в районе нанесения основного удара; 3) наличием достаточного количества своих войск; 4) сохранением в тайне плана предстоящей операции. Ясно, что бассейн Средиземного моря исключался. Единственным районом во всем мире, где вооруженные силы Запада и Востока в полной боевой готовности противостояли друг другу, был Берлин, и только здесь возможность плюс местная обстановка плюс наличие достаточного количества войск могли вызвать вспышку "локальной" войны, которая очень скоро переросла бы в мировую. Под вопросом оставалось лишь четвертое соображение — сохранение секретности, частично потому, что я усиленно пытался проникнуть в планы "Феникса", стараясь сделать так, чтобы нацисты нигде никакой операции осуществить не могли.

Таким образом, своевременная отправка моего сообщения представлялась мне исключительно важным делом — это дало бы возможность разгромить "Феникс". Если бы "Феникс" не опасался этого, его люди не уделяли бы мне столько внимания.

Минут двадцать я лежал ничком на кровати, думая. На обоях снова замелькали темные пятна, и я закрыл глаза. В конечном счете, я все же пришел к выводу, что мне не следует допускать даже мысли о смерти и я не имею права отправлять донесение по почте (это было бы самоубийством) в слабой надежде, что Центр все же получит его и примет немедленное решение, — для приведения любого решения в исполнение у моих коллег просто не будет времени. Люди "Феникса" зафиксируют отправку моего сообщения, вскроют почтовый ящик, узнают адрес, тщательно перетрясут весь аппарат "Евросаунда", установят адресат — нашего человека и допросят его так, что он им все расскажет. Донесение следует передать только по телефону, хотя это тоже связано с большим риском. Я мог бы позвонить капитану Штеттнеру и попросить вместо меня связаться с резидентурой. Но что произойдет в этом случае? Нацисты убьют меня, через кого-нибудь из своих людей в полиции, занимающих руководящий пост, быстро выяснят, что я звонил Штеттнеру, и допросят его с пристрастием. (Опасность здесь была особенно велика в связи с тем, что все руководители полиции были, несомненно, связаны с "Фениксом" и любой из них может просто приказать Штеттнеру рассказать, о чем он со мной разговаривал.) Я пытался найти какие-то другие возможности, но придумать ничего не мог.

Было 04.35. До рассвета оставалось восемьдесят пять минут. Утренние часы "пик" начинались часов около восьми, но нацисты ждать не будут, понимая, что время работает на меня. Если я не надеюсь оторваться от "хвостов" до рассвета, тогда единственное правильное решение состояло в том, чтобы сейчас

отдохнуть, а после наступления часов "пик" сделать еще одну попытку. Именно так должен сейчас рассуждать Октябрь, и мне следует постоянно помнить об этом, иначе мерзавцы доберутся до меня. ...Пульсирующей болью ныло ушибленное колено. По решетчатому рисунку обоев, словно медленныедвигающиеся пули, ползли те же черные пятнышки.

" — Мы выделили человека, который будет прикрывать вас.

— Мне не нужно прикрытие.

— А что будет, если вы окажетесь в тяжелом положении?

— Я сам из него выберусь..."

Да, ничего не скажешь — Квиллер оказался слишком самонадеянным.

У меня начали слипаться глаза, и я встал. Оставалось восемьдесят минут. Мне все еще предстояло осуществить то, чего я не смог сделать за пять с половиной часов, — связаться с резидентурой, ни в коем случае не подвергая ее риску провала и так, чтобы нацисты этого не видели. Может произойти так, что я не успею ничего сообщить и погибну, а моим коллегам придется все начинать сначала. (Интересно, кого пошлют вместо меня? Может быть, Дьюхарста?.. Нет, я не должен думать об этом!)

Сообщение я могу передать по телефону только в том случае, если буду абсолютно убежден в отсутствии за мной в тот момент слежки. Если это невозможно, мне остается только ждать пулю и попытаться...

Мой взгляд упал на перчатку, валявшуюся на кровати, и у меня мелькнула мысль, что на предстоящей мне очень быстрой езде по лабиринту переулков, несомненно, отрицательно отразится неуверенность рук,

которые тряслись от недосыпания. Перчатка лежала на покрывале ладонью вверх, словно обращаясь ко мне с мольбой, хотя я не мог придумать, о чем именно. Возможно, о времени. Мне оставалось семьдесят девять минут.

Я тщательно изучил расположение гостиницы на следующий же день после того, как поселился здесь.

Главный вход, двустворчатая дверь на террасу, одностворчатая дверь в кухню, одностворчатая дверь во двор. Провозившись с ручкой двери номера минут пять-шесть, я бесшумно вышел в коридор, покрытый дорожкой. В здании меня могли караулить несколько человек, но твердой уверенности на сей счет у меня не было. Нацисты знали, где я, и не сомневались, что увидят меня при выходе. Мой телефон, несомненно, прослушивался, однако нацисты, хотя и обыскали номер, но не поставили в нем микрофона и, следовательно, за пленкой записи явиться не могли.

С лестницы доносились только звуки сапожной щетки — ночной швейцар одновременно был и чистильщиком обуви, ему до утра предстояло сделать многое.

До выхода во внутренний дворик можно было добраться так, чтобы сидевший в конторке дежурный ничего не видел; поэтому я крался, только когда швейцар работал щеткой. Дверь во двор была закрыта на замок, но ключ висел здесь же, прикрытый белым халатом шеф-повара.

Во дворе меня охватил холод. Двор был бетонирован, и, чтобы не мерзли ноги, мне снова пришлось надеть башмаки; дверь я оставил отпертой на тот случай, если мне придется быстро ретироваться.

Стеклянная крыша, тянувшаяся от стены гостиницы до гаражей, лишь наполовину прикрывала дворик. Наблюдение за ним можно было вести из выходящих сюда окон отеля или из четырех нижних окон дома напротив главных ворот. Я постоял минут пять, давая глазам привыкнуть, а затем потратил еще столько же времени, проверяя каждое окно. Двор сейчас не освещался, и я стоял в темноте, которую лишь чуть рассеивал свет звезд.

Никакого наблюдения за собой я не обнаружил, и это обстоятельство неприятно поразило меня — нацисты вели себя непонятно. Я вновь проверил все окна, и вновь безрезультатно.

Индивидуальные стоянки машин находились в общем гараже с двустворчатыми дверями-воротами в каждом конце, футах в шестидесяти друг от друга, открывавшимися одним и тем же ключом. Моя машина стояла в ячейке, расположенной ближе других к воротам. Замок, шарниры, скобы и засов двери гаража я еще раньше смазал и мог тихо открыть их, но не видел никакого смысла в том, чтобы стараться действовать бесшумно. Если нацисты найдут нужным открыть стрельбу по мне, когда я буду выезжать из ворот, они успеют подготовиться. Правда, открывая двери стоянки своей машины как можно тише, я сокращаю нацистам время подготовки секунд на десять, но, чтобы распахнуть ворота двора, нужно еще секунд пятнадцать, а поднять винтовку и выстрелить можно за секунду.

Моя надежда выжить была настолько ничтожной, что я решил не увеличивать и без того огромную опасность и поэтому открыл двери стоянки очень осторожно. Однако ворота гаража закрипели, когда я их открывал. Я не только не испугался, но даже почувствовал некоторое облегчение, так как дал противнику знать о себе, и теперь он мог как-то реагировать. Я подошел к воротам на улицу, чтобы получить представление об обстановке. Риска для себя я этим не увеличивал — выбор был совсем невелик: нацисты могли выпустить меня живым или убить при выезде. Если они решили уже сейчас сделать это, минуты через две я буду сидеть в машине мертвым, положив руки на руль. Мое появление в воротах ничего не меняло. Если нацисты решили меня выпустить отсюда живым, они не будут стрелять ни сейчас, ни когда я буду выезжать в машине.

Светящиеся цифры на циферблате часов показывали 05.03. У меня оставалось пятьдесят семь минут. Я подумал, что мне, очевидно, не всегда следует ставить себя на место Октобера — ему иногда тоже приходится выбирать правильное решение из нескольких возможных. Вот и сейчас ему (или его рейхслейтеру) нужно решить, позволить ли мне выехать (с тем, чтобы филеры могли засечь, как только я попытаюсь связаться со своей резидентурой) или же не рисковать и разделаться со мной, как только я окажусь в автомобиле (с тем, чтобы потом не спеша придумать какой-то иной способ узнать адрес нашей резидентуры, например через моего преемника).

Было все еще холодно. Откуда-то донесся гул дизельного грузовика, а затем совсем уже далекие гудки паровозов, маневрирующих на товарной станции. Здесь меня окружала тишина. Я стоял в воротах и чувствовал, как мною овладевает усиливающийся страх, а в левом веке опять возник нервный тик. Наблюдение за мной было прекращено!

Я стоял в воротах, освещаемый светом уличного фонаря. Не увидеть меня не мог бы даже самый полуслепой филер самой плохой разведки, но для этого я должен был бы выглянуть из укрытия хотя бы на долю секунды. Я тщательно осмотрел все окружавшие меня стены домов, двери, окна и крыши, но безрезультатно — ни в одном окне не появилось и щели, все двери были по-прежнему закрыты. За фонарным столбом никто не мог укрыться. Автобус, стоявший всю ночь у тротуара с другой стороны улицы, просматривался насквозь; линия крыш четко вырисовывалась на горизонте.

Я подождал минут десять и еще раз тщательно, но опять безрезультатно, осмотрелся. Понятные мне условия перестали существовать.

Два соображения я должен был отбросить сразу же:

1) люди "Феникса" не могли поджидать меня на большом расстоянии от гаража — справа или слева: никто не мог гарантировать, что обязательно попадет, стреляя в водителя машины, мчащейся километров восемьдесят в час; стрелять на такой скорости в покрышки тоже дело не верное;

2) вряд ли они рискнут стрелять из закрытого окна (при таком свете, как сейчас, за закрытыми окнами я ничего не видел); траектория полета пули меняется в зависимости от качества и толщины оконного стекла. Они не могут быть уверены, что, стреляя сверху, обязательно попадут в меня. Уж если бы нацисты намеревались стрелять из закрытого окна, они сделали бы это сейчас; открывая дверь гаража, я произвел такой шум, что им стало известно о моем намерении выехать.

Нет, совершенно ясно — "хвосты" были почему-то отозваны.

Тик в веке усилился; я приказал себе ни о чем не думать, вновь прошелся по двору и через широко открытые двери возвратился в гараж. Я не считал, что это усиливает риск, даже если нацисты кому-то поручили убить меня там.

Опять ни выстрела, ни звука, ни даже признака движения.

Самое неприятное заключалось в том, что я очень хотел поскорее уехать отсюда и нацисты мне не препятствовали. Я не понимал причин этого.

Я заставил себя некоторое время постоять спокойно, дыша медленно и неглубоко, прислушиваясь и осматриваясь. С севера доносился затихающий гул дизеля; на товарной станции по-прежнему лязгал металл о металл. Вот и все. В гараже ничего подозрительного я тоже не обнаружил — очертания машины, канистра с горючим, карта на стене, кран, лоток. Пахло бензином, резиной, маслом, мешковиной и деревом; все было на своих местах. И тем не менее какой-то внутренний голос не переставая твердил: "Мне это не нравится! Мне это не нравится!" Я попытался заставить замолчать этот голос, с тем, чтобы тщательно все обдумать.

Часы показывали 05.24. У меня оставалось тридцать шесть минут.

Я решил еще раз внимательно осмотреть машину, затем повторить осмотр, а затем уж сесть и ехать — будь что будет.

Как правило, я путешествую налегке, но иногда жизнь зависит от возможности ориентироваться в темноте, и поэтому я вожу с собой фонарик в виде авторучки с тремя долговременными батарейками и с приспособлением для фокусирования и усиления светового луча. Освещая им машину, я осмотрел ее изнутри — к дверям никто не прикасался, все переключения и рычаги находились в том же положении, в каком я их оставил; никаких посторонних запахов.

На осмотр ушло минут десять; затем я открыл багажник и проверил его, но ничего подозрительного не нашел. Чуть скрипнул капот двигателя из-за не совсем исправной пружины, и я стоял, прислушиваясь, минуты три. Потом я осветил двигатель, проверил, нет ли в нем свежей проводки, незнакомых деталей и посторонних запахов, но опять ничего не обнаружил.

Я вновь постоял, не двигаясь и пытаюсь успокоиться. Боль в колене продолжала пульсировать, но тик несколько затих. У меня мелькнула мысль ничего больше не проверять, сесть в машину и, надеясь на везение, выскочить из гаража на большой скорости. Однако привычка никогда слепо не рисковать подействовала, и я вновь взялся за осмотр — проверил, нет ли новой проводки за приборным щитком и позади переключателей фар. Опять ничего.

Я все же заставил себя продолжить осмотр, так как вспомнил об одном похожем случае. Луч фонарика пробежал по бетонному полу, освещая потемневшие от давности маленькие осколки камней и потускневшую медную клемму свечи зажигания типа "Бош".

Я опустился на пол, подполз под машину и, наконец, нашел то, что искал!

23. ОКОНЧАНИЕ ДОНЕСЕНИЯ

Тонкий, как игла, луч образовал кружок света на пластмассовой оболочке изящного прямоугольника размером шесть на три. то есть величиной с небольшой карманный фонарь. Эта вещица была сделана в Японии, и я видел нечто похожее в 1959 году во французской контрразведке. Тогда речь шла о том, что третьего марта в 9.15 утра на Гюйоlettштрассе во Франкфурте тем же методом и такой же изящной "безделушкой" неонацисты взорвали французского разведчика Пушера в машине, и потом собрать ничего не удалось.

Сейчас передо мной опять была такая "игрушка" — маленькая, компактная, прекрасно сделанная, обладающая огромной разрушительной силой.

Я ожидал найти нечто похожее (и, собственно говоря, именно это я искал) после того, как у меня мелькнула мысль о том, что нацисты скрылись из гостиницы, словно здесь вот-вот должна разорваться бомба.

Я лежал на бетонном полу, и у меня начала мерзнуть спина, но не торопился выбираться из-под машины и размышлял. Октябрь считал себя человеческой счетно-решающей машиной, и только у него

могла возникнуть такая мысль, поскольку людям он вообще не доверял. Он учел даже такую, казалось бы, маловероятную возможность, что, делая последнюю отчаянную попытку оторваться от слежки, я могу незаметно добраться до своей машины. Он распорядился убить меня, если я до рассвета не свяжусь со своей разведкой. И тут же, на тот почти невероятный случай, что я все же ускользну от его подручных, Октябрь обеспечил мою гибель.

Теперь работать влажными руками было очень опасно, и я тщательно вытер их о костюм, прежде чем снять бомбу, поставленную на кончик выхлопной трубы. Расчет нацистов был прост: уже через несколько минут езды от вибрации трубы бомба свалится и ударится о землю. Даже при самой большой скорости движения снаряд упадет сразу же позади машины.

Осторожно держа бомбу, я выбрался из-под машины, встал и по привычке прислушался. Все по-прежнему было тихо.

Стоянка моей машины отделялась от соседних тонкой стенкой, не доходившей до потолка. Через три секции с такими же перегородками гараж оканчивался капитальной стеной с боковой дверью в ней. Я поставил рычаг переключения в нейтральное положение и завел мотор, а потом обошел вокруг машины и положил бомбу на скат капота, примерно на треть расстояния от края. Мотор остыл, и капот сильно вибрировал. Тщательно наблюдая по часам, я установил, что бомба соскользнет с капота через тридцать пять секунд.

Мне же требовалась примерно минута. Я положил бомбу снова, но несколько выше, быстро перебрался через все перегородки, задел при этом пустую канистру из-под бензина и, не обращая внимания на шум, подбежал к боковой двери, замок которой открывается изнутри и был смазан мною еще

два дня назад.

Выскочив наружу, я захлопнул дверь и сел спиной к гаражу. Я считал, что взрыв не разрушит этой стены, однако сорвет большую часть крыши, а также создаст тучу кирпичной пыли и осколков.

Стук мотора моей машины до меня доносился очень слабо. Прошло шестьдесят секунд, я продолжал ждать, думая: Лондону это вовсе не понравится, так как при взрыве погибнет много имущества частных лиц. Но тот же Поль сказал, что речь идет о миллионах человеческих жизней, и Лондону придется как-то примириться.

Прошло девяносто секунд. Я, очевидно, неточно учел контуры капота и положил бомбу слишком высоко, а мотор сейчас уже разогрелся, и его вибрация несколько ослабла. В воздухе сильно запахло выхлопными газами. Часы показывали 05.49. У меня все еще оставалось одиннадцать минут, но сейчас это уже ничего не значило. Над одной из высоких стен, окружавших двор, на шпилье, показывавшем, словно серый палец, на звезду, загорелись первые лучи нового дня. Шум товарной станции, доносившийся издали, усилился. Послышался крик первого петуха.

Прошло две минуты. Может быть, бомба прилипла к капоту или попала в углубление между крылом и капотом и застряла? Если бомба застряла, она может покоиться там сколько угодно или же будет медленно скользить и все же упадет. Я не испытывал никакого желания пойти посмотреть. Мотор продолжал работать, но я слышал это лишь с трудом.

Все ожидаемое мною состояло из трех фаз: первоначального удара о землю, взрыва, воздушной взрывной волны. От взрыва вспыхнет бензин и немедленно вызовет пожар.

Две с половиной минуты. На лице у меня появился пот. Я прекрасно понимал, что не в состоянии рассчитать, когда безопасно сходить и посмотреть, что там происходит, и целая бригада высококвалифицированных ученых может неделю просидеть за такими расчетами и тоже не определит этого.

Три минуты. Далекий шпиль осветился еще больше, и на казавшемся до этого каким-то металлическим небе появились облака.

Если в течение следующих десяти минут ничего не произойдет, все-таки придется пойти к машине и узнать, в чем дело: нацисты приступят к действиям, а я не в состоянии...

Стена за моей спиной вздрогнула, и грохот взрыва прозвучал для меня какой-то дикой музыкой. Во все стороны полетели осколки стекла от поднятой взрывом и свалившейся крыши. Взрывная волна, подобно горячему ветру, пронеслась мимо меня.

Я подождал, пока во дворе собрались любопытные, и позади них пробрался к воротам. Взорвался еще один топливный бак, и вдалеке послышались сирены пожарных машин. Часы на соседней башне пробили шесть.

Я вышел из такси на Унтер-ден-Эйхен и своим ключом открыл дверь рядом с входом в магазин головных уборов. Мы поднимались на грузовом лифте, на дверях которого, чтобы им не пользовались другие, висело объявление, что он неисправен. Кнопка девятого этажа не только приводила лифт в

движение, но и зажигала сигнальные красные мигающие лампочки в обеих комнатах резидентуры. Сейчас здесь находились пятеро, включая Хенгеля, побледневшие, с покрасневшими глазами, они не спали всю ночь в ожидании моего донесения. На подносе стояло много пустых чашек.

— Еще есть кофе? — спросил я.

Хенгель уже вызвал Поля по внутреннему телефону.

Присутствующие время от времени удивленно поглядывали на меня, и я только сейчас вспомнил, что на мне все еще надет белый халат шеф-повара. Я набросил его, уходя из гостиницы и желая во что бы то ни стало оторваться от слезки, так как в толпе зевак, несомненно, было достаточно людей "Феникса". Сняв халат, я бросил его на спинку стула. Мы немного поговорили, и минут через десять появился Польш. Я в это время держал в руках, согревая их, уже вторую чашку кофе: поварской халат не очень-то грел зимним утром на улице.

Польш не спал всю ночь, только что лег, и Хенгелю пришлось разбудить его. В комнате стояла полнейшая тишина. Разведчик, выполняющий ответственное и опасное задание не может просто так появиться в резидентуре и попросить чашку кофе.

Я передал Полю донесение, написанное мною ночью в гостинице, и, пока он читал, присутствующие не спускали с него глаз,

— Для начала сойдет, — наконец заявил он.

— А у меня больше ничего нет.

Он приказал сейчас же вызвать Лондон, а пока мы ждали, сказал:

— Вы знаете, мы ведь должны будем проникнуть туда.

— Подождите несколько часов, хотя бы до полудня, а потом делайте, что хотите.

— Почему именно до полудня? — Лицо Поля, абсолютно ничем не напоминающее, сейчас, без очков, показалось мне еще более невыразительным.

— Мне нужно это время.

Польш бросил на стол донесение и распорядился сделать несколько копий с него.

— Это будет зависеть от Лондона.

Я ощущал такую усталость, что мог только ответить:

— Пусть Лондон зависит от меня.

Как раз в это время оператор доложил об установлении связи с Лондоном и по указанию Поля передал мне трубку. Я поговорил немного с шефом и в конце концов должен был прямо заявить:

— Разумеется, сэр, вы можете приказывать сейчас же разгромить штаб-квартиру "Феникса", но мы лишь частично выполним свою задачу, если вы дополнительно не дадите мне время до полудня. Даже во время обыска руководство "Феникса" может отдать распоряжение о начале операции "Трамплин" и не исключено, что она окажется успешной. Дайте мне время до полудня, и мы будем знать о них абсолютно все.

Шеф ответил мне, что фактически я приставляю ему к виску револьвер и требую ответа. "Вот еще идиот! — подумал я. — Все последние дни человечество живет с пистолетом у виска!" Он спросил у меня, не мог ли бы я закончить свое дело пораньше.

— Постараюсь, сэр. Я должен все закончить значительно раньше, и полдень лишь крайний срок.

Шеф продолжал торговаться, и я под влиянием одного из тех импульсов, о которых потом обычно сожалею, сказал:

— А знаете, сэр, я оказался здесь в опасном положении, и мне пришлось взорвать гараж с семью машинами, принадлежавшими частным лицам.

Теперь я уже с удовольствием послушал начальника, а потом передал трубку Полю.

Пока Польш успокаивал шефа, я выпил еще кофе, а потом попросил соединить меня по телефону с генеральным прокурором.

— С кем, с кем?

— С Эбертом.

Я взял трубку, в которой долго звучали лишь гудки вызова, но потом услышал уже совершенно бодрый голос прокурора, хотя было еще только без четверти семь утра. Я попросил немедленно принять меня.

— У вас, должно быть, очень срочное дело, герр Квиллер?

— Да.

Прокурор ответил, что он к моим услугам, и положил трубку.

Польш как раз закончил разговор с Лондоном.

— Центру это все вовсе не нравится.

— Ну и на здоровье.

— Мне это тоже не нравится.

Таким образом, и Центр, и резидентура продолжали ворчать. Побыстрее — лишь бы только не обжечься — я выпил кофе, зная, что мне потребуется кофеин от усталости. Впервые в жизни мне предстояло сделать нечто такое, чего я терпеть не мог.

— Ничего, все будет в порядке, — успокоил я Поля.

— Мы, конечно, будем здесь до полудня, — сказал он и чуть не добавил напыщенно: "на нашем боевом посту".

Я понимал, что Польша задержит здесь всех работников резидентуры, с тем чтобы мучиться совместно. Он знал, что в любое время, пока я буду действовать в одиночку, нацисты могут схватить меня и, пытая, заставить говорить. Мои коллеги жили в такой опасности все последнее время, но сейчас обстановка осложнялась тем, что у нацистов истекло время. Работникам резидентуры вовсе не хотелось оказаться здесь, как в ловушке, когда на лифте поднимутся люди "Феникса" и начнут обстреливать их из пулеметов, размещенных в окнах домов на другой стороне улицы. Никто из них не испытывал желания попасть под прицельный огонь, при выходе из резидентуры и умирать, не имея даже возможности предупредить об опасности коллегу, следующего за ним.

Я прекрасно понимал, как им нелегко, и, конечно, симпатизировал им. У меня всегда устанавливались хорошие отношения с работниками местной резидентуры в любой стране, чего я никак не

мог сказать о своих отношениях с этими чинушами и бюрократами из Центра.

— Противник пока действовать не будет, — сказал я Полю, — и вы ничем не рискуете. Фашисты уверены, что я подорван их бомбой, и все еще толкуются около пожара. Меня они больше искать не будут, и поэтому вам беспокоиться не следует.

С резидентурой вновь связался Лондон. Трубку взял Польша. Он долго слушал, потом положил трубку и сообщил мне:

— Центр связался со штабом британских войск в Берлине. Сегодня ровно в двенадцать часов дня британский комендант направляет в штаб-квартиру "Феникса" в Грюневальде четыре броневедомоцила с пятьюдесятью солдатами.

У работников Центра в Лондоне всегда начинается нервная дрожь, как только обстановка осложняется. Я посмотрел в окно. Улица начала наполняться машинами и пешеходами.

— Можно вызвать такси для меня? Кто одолжит мне пальто моего размера?

Мне показалось отсюда, что на улице сейчас должно быть еще особенно холодно, а мое пальто по-прежнему висело в кухне гостиницы "Центральная".

Пока я дождался такси и сел в него, снова повалил мокрый снег.

Эберт из вежливости сам открыл дверь и пригласил позавтракать с ним.

За столом прокурор показался мне более общительным и разговорчивым, чем в служебном кабинете.

Он сразу же поинтересовался:

— Вы, герр Квиллер, очевидно, намереваетесь представить мне какого-то важного "клиента", не так ли?

— Даже несколько, господин генеральный прокурор, но официально мы уведомим вас об этом несколько позднее.

Эберт долго смотрел на меня из-под белесых бровей, а затем не спеша взял себе еще кусок пирога.

Мне тут же пришла в голову мысль, что он, по существу, даже не знает, кто я такой.

— Но сейчас я пришел к вам не за этим, — продолжал я, — а для того, чтобы попросить об одном одолжении. Я хотел бы поговорить с одним человеком, и вы, вероятно, могли бы устроить нашу встречу. Я имею в виду господина министра федерального правительства Лобста.

Эберт задумался, явно в поисках какой-то связи между моей просьбой и нашим предыдущим разговором, но, не найдя ее, ответил:

— Да, конечно.

Эберт и Лобст работали в ведомствах, тесно соприкасающихся по работе, и хорошо знали друг друга.

Я поэтому и пришел к Эберту.

Генеральный прокурор дважды позвонил куда-то по телефону, а затем сообщил, что господин Лобст будет рад принять меня у себя в министерстве в любое время после девяти часов. Он тут же попросил передать от него большой привет господину федеральному министру.

У меня еще оставалось сорок пять минут, и поэтому я нашел рано открывающуюся парикмахерскую, где побрился и сделал маникюр, чтобы не казаться таким усталым. Ровно в девять часов утра меня провели

в кабинет министра. Он разговаривал по телефону, и приведший меня секретарь тихо выскользнул из

кабинета, не дожидаясь, пока министр кончит говорить, повернется и взглянет на меня. Никакого значения для меня это не имело; я был готов действовать и в присутствии секретаря. Лобст сидел, не шевелясь и даже не пытаясь протянуть руку к ящику стола, и я не спеша направился к нему. Министр хотел было встать, но я подскочил к нему и ребром ладони ударил по шее с таким расчетом, чтобы он ненадолго потерял сознание. Потом я запер дверь на ключ, вернулся к столу и сел на уголок.

— Ну-с, Цоссен, — начал я, — я хочу знать все.

Цоссен моргал, пытаясь угрожающе смотреть на меня, на большее он был явно не способен, будучи человеком, не желающим унижать себя "грязной работой". Он только отдавал приказы и подписывал бумаги, а работать были обязаны его подчиненные.

— А мне доложили, что вы убиты, — пробормотал Цоссен, постепенно приходя в себя.

Я долго смотрел ему в лицо, не только жестокое, но и жадное. Это было хищное лицо с внимательными, жаждущими добычи глазами и длинными тонкими губами, растянутыми, подобно латинской букве "Н", между надутыми щеками. В штаб-квартире "Феникса" в Грюневальде я опознал его не по лицу, а по походке, когда он вышел из-за стола и направился к карте.

Это лицо могло принимать и еще одно обличье — третье, и я видел его на страницах газет, когда министр федерального правительства Эрнст Лобст выступал с какой-нибудь речью или встречал иностранного посла на Темпльхофском аэродроме. Поэтому-то я знал, где его искать.

Я явился к нему, чтобы помешать скрыться после того, как он узнает об обыске в штаб-квартире "Феникса". Я пришел, чтобы заставить рассказать все на тот случай, если разгромить центр "Феникса" не удастся. Я пришел во имя тех трехсот безымянных мучеников, которым он когда-то сказал: "Некогда... Я хочу поспеть в Брюкнервальд к обеду".

Цоссен полностью пришел в себя и не спускал с меня глаз. Я велел ему позвонить секретарю по телефону и запретить беспокоить в течение часа. Как только он поднял трубку, я тихо предупредил:

— Двери заперты на ключ. Если вы позовете кого-нибудь на помощь, у меня все же будет около минуты, пока им удастся выломать дверь, а за шестьдесят секунд я могу сделать многое с вами. Учтите это и будьте осторожны.

Пока Цоссен разговаривал с секретарем, я почувствовал, что во мне поднимается раздражение против него за его беспомощность сейчас. Однако я тут же сказал себе, что должен помнить о мучениках Брюкнервальда и сделать то, ради чего пришел.

Он положил трубку телефона, и я сказал:

— Ну, а теперь вы расскажете мне все. Слышите — все!

Десяти еще не было, когда я вышел из кабинета министра федерального правительства; наша "беседа" окончилась несколько раньше, чем я предполагал. Оружия у меня с собой не было, но в подобных случаях мы не щепетильны в выборе средств для достижения цели. Цоссен продержался минут двадцать, а потом не выдержал и в конце концов рассказал все.

По дороге на Унтер-ден-Эйхен я позвонил Штеттнеру.

— У меня есть для вас кое-что, — сообщил я. Штеттнер даже не удивился, когда я назвал ему фамилию. На учете крупных военных преступников в комиссии "Зет" состояли и другие министры федерального правительства.

— Сейчас же приеду за ним, — сообщил он. Я знал, что Штеттнер не арестует Цоссена; теперь к нему следовало послать людей из морга, но для порядка требовалось как-то зафиксировать, что, уходя из кабинета министра, я видел его живым.

Я застал Поля в резидентуре; увидев меня так рано, он встревожился — сейчас не было еще и половины одиннадцатого, а я выпросил себе время до полудня.

— Что-нибудь не так?

— Все в порядке, — ответил я. — Приготовьте магнитофон.

Каждый исподтишка посматривал на меня, но я не подымал глаз; все они основательно надоели мне. Как только магнитофон был включен, я начал:

— Докладывает Квиллер. В беседе с министром правительства Федеральной республики Эрнстом Лобстом (его настоящее имя и фамилия Гейнрих Цоссен) выяснилось, что организация "Феникс" готовилась в самое ближайшее время осуществить следующую операцию.

Хорошо законспирированный новый немецкий генеральный штаб располагает сейчас в Западной Германии пятисоттысячной армией, оснащенной по последнему слову военной техники, что представляет решающий фактор. Английские, американские и французские войска в Западном Берлине насчитывают всего 12 000 солдат и офицеров, то есть соотношение сил в этом секторе сейчас меньше, чем сорок к одному.

Операция должна была состоять из двух фаз, быстро следующих одна за другой, а именно: 1) вооруженное вторжение в Восточный Берлин, что немедленно вызвало бы новый кризис; 2) нападение на союзнические гарнизоны в западной части города. На воздушную бомбардировку Восточного Берлина советское командование ответило бы соответствующими контрмерами, а в Москве и в советской группе войск в ГДР в это время вспыхнула бы эпидемия легочной чумы.

Кассеты магнитофона вращались без шума.

— Теперь о докторе Соломоне Ротштейне, о котором я докладывал в сообщении № 34-А и в комментариях к его документу, который мне удалось расшифровать. Ротштейн, видимо, вел двойную игру с "Фениксом". Нацистам не было известно о намерении Ротштейна вызвать в Аргентине эпидемию легочной чумы, хотя вообще-то он работал на них. Они поручили ему приготовить девять капсул с бациллами легочной чумы для отправки в Москву и еще в восемь пунктов, где расположены наиболее крупные гарнизоны советских войск. За четыре дня до бомбардировки Восточного Берлина и вторжения в него предполагалось разбить капсулы в этих девяти точках и заразить ими пищу с таким расчетом, чтобы к началу военных действий отрезать советские войска в ГДР от главного командования и от баз снабжения. Именно это я имел в виду, когда размышлял о так называемом "параллельном предположении". Я догадывался, что Ротштейн одновременно поставил перед собой две задачи: делая вид, что он готовит бациллы для заражения военных баз той страны или стран, на которые намеревались напасть нацисты, Ротштейн параллельно готовился к уничтожению всех нацистов в Сан-Катарине. Солли, конечно, не сказал бы мне о своей аргентинской операции, а, видимо, хотел сообщить только о том, что он делал для "Феникса". Если бы Ротштейн остался в живых, позднее, когда нацисты потребовали бы от него эти девять капсул, он подробно информировал бы обо всем советское и союзническое командование в Берлине. Требование о предоставлении бацилл означало бы неизбежность операции, и хотя Ротштейн мог не знать точной даты ее начала, но это могло произойти не ранее пяти необходимых дней: день на доставку капсул к местам назначения и четыре — на инкубацию бактерий. Ротштейн был уверен, что, располагая таким временем, он успеет заблаговременно предупредить русских и союзников, с тем чтобы нацисты, продолжая подготовку, потом (когда он сообщит о них) были бы схвачены с поличным и осуждены.

Продолжая диктовать, я добавил:

— Разумеется, в приготовленных Ротштейном капсулах никаких вредных бацилл не содержалось бы. Однако нацисты, поняв, что он обманывает их, убили его и разгромили лабораторию, с тем чтобы изъять все компрометирующие документы. Вероятно, они заставили одного из ассистентов Ротштейна передать им наиболее смертоносные бациллы из культивирующихся в лаборатории, намереваясь все равно вызвать эпидемию в Москве и в частях Советской Армии. Нужно немедленно принять все меры к обнаружению культуры бацилл, изъятых нацистами из лаборатории Ротштейна, а для этого тщательно допросить всех ассистентов Ротштейна и людей "Феникса", производивших обыск. Сейф в лаборатории оказался вскрытым (смотрите рапорт капитана Штеттнера из комиссии "Зет"). Доктор Ротштейн, наверное, хранил в нем пакет, адресованный советскому (или союзническому) командованию, позднее, видимо, изъятый нацистами и уничтоженный. Люди "Феникса", произведя обыск, очень торопились и даже не обратили внимания на контейнер, адресованный брату доктора Ротштейна, хотя взяли почти все бумаги. Я выключил магнитофон и задумался, проверяя себя, не забыл ли чего-нибудь, но ничего больше припомнить не мог.

— Конец донесения? — поинтересовался Поль.

— Не знаю. Наверное. Конечно, остается еще много деталей, но для этого сейчас нет времени.

Действуйте дальше, если хотите.

Два оператора занялись подготовкой магнитофона для подключения к прямой связи с Центром, а Поль позвонил куда-то по телефону и сказал:

— Попросите к телефону генерала Стюарта... Его нет? Срочно разыщите!.. Генерал Стюарт? Наш человек вернулся несколько раньше, чем предполагалось. Начинайте, если вы готовы. — Он положил трубку.

Снова быстро завертели кассеты магнитофона, перематывая пленку. Хенгель опять вызвал Лондон.

Поль присел на краешек стола и взглянул на меня,

— Что произошло с Цоссеном?

Я даже рассердился. Поль был очень педантичным человеком, никогда ничего не забывал, и ему следовало бы помнить, что, когда мы разговаривали о Цоссене в ложе театра, я сказал: "Предоставьте мне свободу действия и не задавайте вопросов".

— Не знаю.

— Я хотел спросить, должны ли мы придумывать что-то для камуфляжа?

— Нет, он оставил записку о самоубийстве. Мне казалось, что так будет лучше.

Поль кивнул и отошел; его вызвал Лондон. Операторы включили магнитофон, на этот раз уже для воспроизведения записи, а я уселся поглубже в кресло, прислонился головой к стене и закрыл глаза. Голос, звучащий с пленки, даже мне показался голосом очень утомленного человека. Должно быть, я старел.